**ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ**

**Воскресшее слово Главы из книги.**

**Опубликовано в журнале:**[**«Новый Мир» 1995, №4**](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/4/)**,3**

***ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ***



**ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ ВОСКРЕСШЕЕ СЛОВО**

 *Главы из книги*

*Мы публикуем фрагменты одноименной книги Виталия Шенталинского, посвященной судьбе русского слова в советское время, трагическим страницам истории нашей литературы. Изданная во французском переводе в Париже в 1993 году, книга имела широкий резонанс и попала в число бестселлеров. Дома же, в России, она из-за издательских трудностей до сих пор не выходила. Автор, основываясь на новых, бывших до последнего времени закрытыми и недоступными для общества материалах из архивов КГБ и Прокуратуры СССР, рассказывает о писателях, которые подверглись репрессиям либо так или иначе испытали на себе деформирующий гнет тоталитарной власти: Исааке Бабеле, Михаиле Булгакове, Павле Флоренском, Борисе Пильняке, Осипе Мандельштаме, Андрее Платонове, Николае Клюеве, Максиме Горьком...*

*В книге два пласта повествования. Один, авторский дневник, — наше время, события и люди эпохи горбачевской перестройки и ельцинской постперестройки. Это рассказ о том, как открывались секретные архивы, какая борьба велась вокруг них, о друзьях и врагах этого дела. Другой пласт повествования — прошлое, “черные дыры” истории, в которые заглянул автор. Это главы-досье, построенные на документах и включающие в себя отрывки из рукописей и писем, обнаруженных в спецхранах.*

*Вниманию читателей предлагаются фрагменты авторского дневника и глава-досье о Максиме Горьком.*

**“ХРАНИТЬ ВЕЧНО” ИЛИ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”?**

**Безумная идея**

Ночь. Укромная подмосковная дача. В распахнутом окне колышется, перешептывается листьями, мерцает лепестками цветов сад. Где-то совсем близко защелкал соловей. Нимб из бабочек и мотыльков кружит над настольной лампой.

А голова разрывается от грохота дня, шума времени, и нет сил, чтобы успокоиться, прийти в себя, окунуться в вечное, как эти деревья и звезды.

Любимый герой моих детских лет, капитан Немо, разочаровавшись в людях, ушел в безвременье морей... Так уходят поэты — в безвременье, вернее, всевременье поэзии, — ценой утраты сегодняшнего благополучия, а иногда и самой жизни, уходят в другое измерение, где сегодня, вчера и завтра слиты воедино, где нет ни старого, ни нового, где торжествует вечность. Там теперь многие герои этой книги — писатели и мудрецы, аскеты и пожиратели жизни, победители и побежденные — жили вместе, а гибли поодиночке — рабы свободы, той невиданной в истории иллюзорной свободы, которая лишь провозглашена на одной шестой части земли в двадцатом веке...

А я еще не переболел своим временем, еще трясусь в его лихорадке, еще тщусь в меру своих сил повлиять на его ход тем оружием, которое у меня есть, — памятью и словом. Копьем слова и щитом памяти, как, может быть, сказал бы один из поэтов, канувших в вечность. Но я все еще здесь, сейчас, и жанр моей книги другой. Это достоверный, документальный рассказ о судьбе русского слова. И о том, как однажды жизнь, оторвав меня от стихов, призвала к прямому социальному действию.

Как все началось? Как было? Вспоминаю. Передо мной ворох дневниковых записей, обрывки, которые я писал наспех, не думая об отделке и стиле, — подробно и постоянно записывать было некогда: события требовали поступков, а не рефлексии, разворачивались с головокружительной быстротой и захватывали без остатка. Они мне помогут, эти листочки. И может быть, теперь наконец я смогу, чуть отстранясь, увидеть по-настоящему и осознать ход и смысл событий, свидетелем и участником которых был.

В самый канун 1988 года я закончил свою новую книгу стихов “Зеленая религия”. Поставил точку, разрешился от бремени — и оказался на распутье: внутри образовалась та сосущая пустота, провал, воронка, которая зарастает не сразу, а со временем, когда туда попадает семя нового замысла. Огляделся вокруг. Жизнь казалась непредсказуемой.

Непредсказуемостью дышала в тот момент вся страна — впервые с 1917 года... Стоячее социальное болото, в которое мы были погружены, всколыхнулось и вздыбилось. Вдруг до всех дошло, что так больше жить нельзя. Это поняли все. Но вот как надо жить — не знал никто.

Эйфория и переполох, страх и надежда — все перемешалось. Началось великое смятение умов, смута и разброд: одни возрадовались, другие испугались, очень многие по стародавней российской привычке поняли свободу как волю, произвол — делай что хочешь! — но большинство, по еще более сильной привычке, ждало инструкций, хозяйской команды сверху: ведь это так облегчает и упрощает жизнь, когда на каждом повороте тебя приветствует ласковый дедушка Ленин в уютной кепочке, с красным бантиком: верной дорогой идете, товарищи! Кто-то тянул назад, в прошлое, кого-то устраивало настоящее, а кто-то забегал вперед, торопя события. Страна затрещала по всем швам.

Казалось бы, особенно должна была возликовать интеллигенция, писатели, властители душ и умов. Вот теперь для них — самое время, золотой век! Ведь гласность, свобода слова — те роскошные блага, которых они никогда не знали, о которых мечтали, за которые сражались, — наконец есть. Твори!

Слово, литература в русской жизни всегда занимала особое, исключительное место. Еще Александр Герцен называл нашу литературу “вторым правительством”, истинной властью. Литература всегда была в России не только искусством, но общественным парламентом за отсутствием такового в политике, гласом совести и правды. За слово у нас убивали — так высоко оно ценилось. И что же теперь — теперь, когда государственное давление на литературу исчезло?

Произошел парадокс — рожденные и выросшие в условиях несвободы, в духовном удушье, советские писатели оказались в положении глубоководных рыб, страдающих... от избытка кислорода. Ведь совсем еще недавно даже самые элементарные общечеловеческие понятия были у нас под запретом. Помню, как редактор выкорчевывал в моей книге все, что в ней было связано с Богом и болью, то есть то, что наболело от пережитого и виденного вокруг, и как с точностью компьютера вылавливал и отбраковывал в моих стихах слова “душа”, “хорал”, “распятие”, “молитва”...

— Это не пройдет. Цензура не пропустит...

Бог и боль... За десятилетия духовного оскопления у многих эти понятия были вытеснены не только из писаний, но и из самого сознания. Не стало внешнего цензора — остался внутренний, и победить его было куда трудней.

Горько признать: советский человек оказался не готов к встрече со свободой. Да, рабство внешне вроде бы пало, но рабство глубоко гнездилось в каждом из нас, и с ним каждый должен был справиться сам. Даже великий Чехов, по его признанию, всю жизнь по капле выдавливал из себя раба. А уж что говорить о гомо советикус — ему для такой операции и жизни мало!

В этом и состояла главная черновая работа демократии.

Как-то в январский денек уже наступившего 1988 года я заглянул в Дом литераторов. И столкнулся со своим старым знакомым, секретарем Московской писательской организации.

— Сколько лет, сколько зим! — хлопнул он по плечу. — Что-то тебя не видно. Хватит отсиживаться дома, видишь, какие времена? У нас на днях общее собрание. Без повестки, без президиума, впервые — гласно, открыто, начистоту. Поговорим о том, как жить дальше. Приноси свои идеи!..

Я шел по морозной московской улице и почесывал в затылке: неужели у меня нет идей?

Идеи были. Но не для них — не для их собраний и начальства, которое я всегда ощущал враждебным творчеству. И хоть и числился членом Союза писателей, но участие мое в нем было формальным и ограничивалось разве что Домом литераторов — его кафе, концертами и кино. Ибо политику и дела в Союзе писателей вершили литературные маршалы и генералы, лауреаты Ленинской и Государственной премий, члены ЦК КПСС, Герои соцтруда, функционеры и главные редакторы. Эта чиновная элита, тесно связанная с кремлевскими воротилами и КГБ, была, по существу, надсмотрщиком, проводником партийной идеологии. Что мне до них, просто человеку пишущему, литературному пролетарию, одинокому сочинителю, который хоть и публиковался иногда, но больше работал в стол, зная, что не напечатают, не примут. Пишу — и достаточно, во всем остальном предпочитаю вести частную, уединенную жизнь.

Но в тот январский день я заколебался. Идеи меня, как, думаю, и всякого человека, конечно, иногда посещали. И одна из них — давнишняя, сокровенная, до сей поры несбыточная...

Что нам теперь нужнее всего? — размышлял я, вышагивая по улице, обдуваемой снежной пылью. Прийти в сознание, очнуться от коммунистического обморока, вернуть себе память. Без прошлого нет будущего. А наше прошлое, история наша отняты у нас, уродливо искажены. Все это относится и к литературе. В той войне, какую советская власть вела со своим народом, писатель — одна из самых выбитых профессий. Сколько их, художников слова, погибло на советской голгофе?

Но у писателя свои счеты со временем. Жизнь его не обрывается физической смертью. Писатель жив, пока его читают. И с этой точки зрения многие из здравствующих ныне литераторов — мертвецы, тогда как иные мертвые — живее живых. Людей, погибших от репрессий, не воскресить, но писателей — можно. Нужно только дать им слово. А слово их — рукописи, может быть, еще живы, замурованные где-то в секретных хранилищах, запрятанные в домашних архивах от гэбэшного сглаза, и ждут своего часа, взывают к нам.

“Хранить вечно” и “Совершенно секретно” — две такие надписи стоят на следственных делах репрессированных. Не пора ли зачеркнуть “совершенно секретно”, а чтобы действительно “хранить вечно” — опубликовать, сделать общим достоянием, ведь только то, что становится достоянием гласности, и хранится вечно, спасается от забвения.

Ясно, что одному такого дела не поднять. В одиночку Лубянку не возьмешь.

Придя домой, я настрочил заявление:

“Общему собранию Московской писательской организации.

В газету “Московский литератор”

Уважаемые коллеги!

Вношу такое предложение.

За годы советской власти было арестовано около двух тысяч литераторов, около полутора тысяч из них погибли в тюрьмах и лагерях, так и не дождавшись свободы. Цифры эти, конечно, неполные, уточнить их пока невозможно. “Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать...” (Ахматова). Обстоятельства и даты смерти этих писателей замалчиваются или фальсифицированы, биографии зияют провалами, в энциклопедиях и справочниках приводятся неверные данные.

И самое важное. Во время арестов писателей их рукописи и архивы обычно изымались и оседали в секретных хранилищах. Есть надежда, что какая-то часть уцелела. Попробуем спасти! Распечатаем черный ящик! Только теперь, в условиях развивающейся демократии и гласности, в пору, будем верить, не “оттепели”, а настоящей весны, появилась такая возможность. Посмотрим, в конце концов, горят ли рукописи! Погибших не воскресить, но мы можем и должны компенсировать духовное ограбление народа.

Предлагаю создать при Союзе писателей специальную комиссию, которая займется этим святым делом. Состав комиссии должен быть избран демократическим путем — при общем обсуждении и голосовании.

5 января 1988 г.”.

Отдав заявление в редакцию газеты, я завернул в кафе Дома литераторов и решил обкатать свою идею для начала среди братьев писателей. И получил такие советы.

**В.** Старина, ты что, камикадзе? Поверь, это безумие. На кого ты руку поднял? Они же тебя в порошок сотрут! Никогда, запомни, ни-ко-гда они в свои архивы не пустят. Там же — вся их агентура...

**К.** Здорово! Молодец! Я — с тобой! Представляю, какие там богатства, в этих архивах. Об этом же надо кричать на весь мир! Поднять общественность, печать!..

**Н.** Слушай внимательно. Никому ничего не говори. Это надо делать ти-и-ихо... Действуй максимально осторожно. Я дам тебе один телефончик ответственного работника из ЦК — позвони, посоветуйся. Только не выдавай меня, не говори, где ты взял этот номер. И еще. Заводи досье на каждого, с кем вступишь в контакт по этому делу. Собирай материалы, все, что узнаешь, пригодится.

**О.** Тебе что, делать нечего? С Лубянкой дело иметь — да не отмоешься потом! И сам писать перестанешь, и врагов наживешь. Ты думаешь, что такое Союз писателей? Филиал Лубянки. Здесь каждый второй — стукач... Не пачкайся. Пиши лучше стихи!.. Да и сожгли они все рукописи давным-давно. Нет там ничего!..

В газете мне объявили, что заявление мое печатать не будут — заблокировал партком. Нецелесообразно, преждевременно.

Спрашивается, при чем здесь партком? Я никогда не был членом партии. Ну да, понятно, к партии я не имею отношения, но она-то — руководящая и направляющая! — имеет отношение ко всем и ко всему. Началось! А чего ты, собственно, ожидал?

Пошел объясняться. Узнал, где он находится, партком. Оказывается, в том же Доме литераторов — вход прямо из ресторана. Так вот где гасят пену, которую взбивают за столиками осмелевшие от хмеля писатели!

Секретарь парткома Анатолий Николаевич Жуков был на месте — уставший, задерганный.

— У вас мое заявление?

— Да-да. Присаживайтесь.

Достал заявление, перечитал, вздохнул.

— Видите ли, в чем дело... Идея ваша хорошая, но ведь ее не поймут. Будут рассматривать как вызов. Мы ее, конечно, обсудим, но не на общем собрании, а на пленуме правления по издательским делам.

— Почему же на пленуме? — удивился я. — Дело это не только издательское, а более широкое. Речь идет о гражданской и творческой реабилитации многих сотен репрессированных писателей, о спасении их рукописей, открытии секретных архивов...

— Вы что, не доверяете пленуму?

— Не доверяю. Комиссию эту надо создавать всем, сообща, гласно, а не в узком кругу начальства. Что же получается? Рядовые писатели опять в стороне? Какая же тут гласность, демократия?

— Да вы не горячитесь, — успокаивает Жуков. — Я же не против, я — за. Надо только по-другому все это делать. Ну, выступите вы на собрании — и что? Только воздух сотрясете. Поверьте моему опыту...

И тут я сообразил, что Жуков, пожалуй, прав. Слишком серьезное дело я затеял, и надо было как следует его подготовить. А так — пошумят, проголосуют наспех — а дальше? Все равно без “решения партии и правительства” ничего не сделаешь. А навредить можешь — взбудоражишь Лубянку, и она ощетинится, примет предохранительные меры. Вырвется моя идея на Божий свет — и тут же ее подстрелят! Вот тебе и гласность! Не гласность, а гнусность.

— Ну уж если вы против пленума, — закончил Жуков, — то дайте нам подумать...

— И долго вы будете думать?

Парторг развел руками.

И пошла канитель!

Январь — думает партком; февраль, март — думает горком; апрель, май, июнь — думает ЦК... Чем выше — тем хуже соображают. Идею мою явно решили заволынить. Расчет ясен: устанет, остынет — и махнет рукой.

Жуков меня уже избегает, недовольно морщится, пожимает плечами: чего, мол, от меня хотите, я свое дело сделал, теперь все решают там (показывает в потолок). Наконец дает телефон — звоните. Звоню, объясняю все — в который уж раз! Удивляются: а при чем здесь мы? мы — комиссия цензурного ведомства по рассекречиванию уже изданной литературы, а не рукописей, вы обратились не по адресу...

Еще раз прокручиваю все с самого начала. И опять заводят не туда — на сей раз в Комиссию по реабилитации членов партии... Идут недели, месяцы, а я все вокруг да около.

В очередной раз настигаю Жукова в его кабинете. Теперь уже горячится он:

— Не могу я столько этим заниматься! У меня дел по горло. Пусть партруководство решает.

— Да ведь мы, мы должны решать, а не кто-то за нас, Анатолий Николаевич! Скажите честно: что мешает, кто против?

— Да никто, все — за.

— Тогда это саботаж. Как резиновая стена — вроде поддается, а чем больше напираешь, тем с большей силой отбрасывает. Если партком устраняется, буду действовать по-своему...

— Напугали! Интересно, чего вы добьетесь без решения властей? Вы же в го-су-дарстве живете! — почти кричит выведенный из себя парторг. И после паузы: — Ну, хотите, при вас позвоню куратору Союза писателей в ЦК?

— Хочу.

Жуков набирает номер и после положенных приветствий:

— Тут опять ко мне Шенталинский пришел, с топором... Что ему сказать? — И сует мне трубку.

— Виталий Александрович, — слышу я бесстрастный голос, — ваше заявление передано одному из секретарей ЦК, члену Политбюро. Он сейчас в заграничной командировке. Подождите. Мы сами вам позвоним...

Дома я перелистал газеты: кто из сильных мира сего за кордоном? Ага, точно — секретарь ЦК, член Политбюро Александр Яковлев. Архитектор перестройки. Что-то будет?..

Через неделю мне позвонили:

— Ваше предложение рассмотрено. Хорошая идея! Надо развить, и дайте список репрессированных. Для начала небольшой...

Завертелось!

О дальнейших действиях Александра Яковлева я узнал потом, спустя много дней, в прокуратуре, из специальной папки, заведенной на нашу комиссию.

“Начальнику Управления по надзору за исполнением законов

в органах государственной безопасности

т. Андрееву В. И.

Прошу совместно с КГБ СССР рассмотреть просьбу Яковлева А. Н. о возврате рукописей лиц, репрессированных в годы культа личности, и о результатах мне доложите.

Генеральный прокурор СССР А. Сухарев.

25 июля 1988 г.”.

В те дни меня пригласил к себе оргсекретарь Союза писателей СССР Юрий Верченко. В первый раз переступил я порог этого верховного литературного ведомства.

Старинный особняк на улице Воровского, описанный Львом Толстым в “Войне и мире” как дом Ростовых. За оградой, в скверике, восседает на постаменте сам Лев Николаевич. За тяжелой дверью над лестницей тебя приветствует голенькая нимфа, чудом уцелевшая еще с дворянских времен. А чуть дальше наш советский кич: иконостас на всю стену — портреты писателей — лауреатов, героев, секретарей, тех избранных, которые здесь заправляли и заправляют.

Юрий Николаевич Верченко — лицо в литературном мире известное. Ни для кого не секрет, что делами в “Большом Союзе”, то есть в Союзе писателей СССР, заправляет именно он, Юр-Ник (так все его за глаза называют), полномочный представитель ЦК КПСС. Во всяком случае, с заботами своими писатели стараются попасть именно к нему. К первому секретарю правления Владимиру Васильевичу Карпову и проникнуть трудней, да и реже он на месте — занят творческой работой, пишет военные романы или заседает в правительстве.

Пройдет время, и я лучше узнаю этих людей. И увижу, что Верченко — действительно работяга и в самом деле многим помогает, особенно в житейском плане: кому квартиру схлопочет, кому деньжонок подкинет, кому с поездкой за границу пособит. Но вот что касается идеологии, тут Юр-Ник — верный солдат партии. Если отклоняется вправо-влево, только вместе с ней!

Верченко выглядит больным: бледный, полный, он беспрерывно курит, время от времени перемежая сигарету таблеткой.

— Хорошая идея, — говорит мне Верченко. — Давайте создавать комиссию. Продумайте состав, программу работы, ну и все прочее — и будем начинать. Только почему вы в Московскую организацию обратились? От репрессий, дорогой мой, не только москвичи страдали — вся страна, все республики. Комиссия должна быть всесоюзной! Согласны?

Я был согласен.

Одним из первых идею комиссии поддержал Булат Окуджава. В его уютном, гостеприимном доме мы и собрались для совета. Пришли поэт Анатолий Жигулин, бывший узник Колымы, и Олег Васильевич Волков, патриарх нашей литературы, двадцать семь лет жизни проведший в лагерях и ссылках. Позвонили прозаикам Камилю Икрамову и Юрию Давыдову, тоже имевшим печальный тюремный опыт, известному публицисту Юрию Карякину — и он, хоть и не был за решеткой, немало натерпелся от властей... Получилось нечто вроде инициативной группы. Тут разногласий не было — встретились единомышленники: дело нужное, важное, давно пора, поможем, чем сможем. Сомневались в одном: удастся ли пробиться в секретные архивы на Лубянку, возможен ли вообще диалог между писателями и теми, кто до сих пор только надзирал и преследовал?

Встала еще проблема. Блажен муж, не ходящий на совет нечестивых... Как соединить демократов по убеждениям, которые находились в оппозиции к официальной линии Союза писателей, и руководство его, правоверных коммунистов-функционеров, без которых, как стало ясно, тоже нельзя обойтись? Убедил мой друг, поэт Владимир Леонович:

— Пусть и нечестивые делают хорошие дела, это их шанс проявить себя с лучшей стороны...

Следующим шагом было связаться с писателями из Ленинграда, Сибири, других республик Союза — чтобы в комиссии была представлена вся страна. И тут дело сладилось, к нам присоединились Виктор Астафьев, Геворк Эмин, Чабуа Амирэджиби... Это уже была крепкая опора.

И вот я снова у Верченко. К моему удивлению, он был покладист и против нашего состава комиссии не возражал. Пытался, правда, всунуть туда несколько дутых фигур, “священных коров” от литературы, но я уперся. Удалось отбиться.

Пока мы все это обсуждали, дверь распахнулась — и в кабинет по-командирски вошел массивный, широкоплечий Карпов.

— Володя, как раз вовремя! — приветствовал его Верченко. — Тут мы вот что обсуждаем...

И, объяснив Карпову суть дела, вдруг, к удивлению моему, сказал:

— Володя, тебе надо быть председателем комиссии...

— Ну да! — отвечал тот. — А потом писатели опять будут сплетничать: гляди, Карпов себя председателем еще одной комиссии назначил. Нет уж, хватит!

— Володя, на каждый чих не наздравствуешься. Это ведь какая комиссия! — продолжал уговаривать Юр-Ник. — Ты же сам бывший зэк, тебе и карты в руки. А потом, ты же понимаешь, чтобы сдвинуть такое дело, нужен свой человек в правительстве, в ЦК, нужна — фигура! Мы без тебя не обойдемся! — И, повернувшись ко мне, Юр-Ник подмигнул: понял, мол, стратегию?

Я понял.

В начале декабря в газетах появилось сообщение:

“В секретариате правления СП СССР.

Сделать достоянием народа

...Секретариат правления СП СССР постановил утвердить Всесоюзную комиссию по литературному наследию репрессированных и погибших писателей (председатель — В. В. Карпов, заместители председателя — А. В. Жигулин, В. А. Шенталинский)...

Необходимо сосредоточить усилия комиссии на поиске, профессиональном анализе и публикации рукописей, документов, писем, воспоминаний, популяризации творчества репрессированных и погибших писателей средствами массовой информации... Предпринять необходимые меры по увековечению их памяти, восстановлению объективности в отношении каждого писателя; готовить необходимые материалы для посмертной реабилитации.

Секретариат правления СП СССР обращается к советским людям и зарубежной общественности с просьбой направлять рукописи, письма, воспоминания, документы, фотографии — все, связанное с жизнью и творчеством безвинно пострадавших писателей, по адресу...”

На пробивание безумной идеи ушел целый год. Теперь она обрела законный статус в пределах СССР. Мог ли я думать, что пройдет совсем немного времени — и СССР исчезнет, а вместе с ним испарится Союз советских писателей?.. Идея выживет...

Надвигался новый, 1989 год. Буря политических страстей в стране нарастала. Стремительно, на глазах руша привычную систему жизни, к нам врывалось будущее — неведомое, пугающее, неотвратимое. И все же мы пили шампанское в новогоднюю ночь с надеждой: вот и дождались перемен, и что бы ни случилось впереди, хуже того, что было, — быть не может!

**Антитройка**

Бабель

Веселый

Воронский

Гумилев

Катаев

Клюев

Кольцов

Мандельштам

Пильняк

Приблудный

Святополк-Мирский

Флоренский

Чаянов

Этот трагический список — первые тринадцать имен из мартиролога нашей литературы — я послал в ЦК вслед за попавшим туда моим заявлением. И пока мы создавали комиссию, он тем временем где-то прокручивался своим ходом по скрытым партийным и государственным каналам. В январе Александр Яковлев получил от прокуратуры такое письмо (о нем я опять же узнал позднее, все из того же прокурорского досье на комиссию):

“Секретно

Секретарю ЦК КПСС

товарищу Яковлеву А. Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

Во исполнение Вашего поручения о розыске и возвращении в литературный оборот рукописей и писем ряда писателей, репрессированных в 30-е годы, Прокуратурой Союза ССР совместно с КГБ СССР проведена работа по розыску и изучению соответствующих архивных материалов.

Проверкой установлено, что указанные в представленном списке писатели были действительно незаконно осуждены в 30-е годы. Согласно имеющимся документам, изъятая при аресте Кольцова (Фридлянда) Михаила Ефимовича переписка с писателем И. Г. Эренбургом и другие материалы были направлены 21 января 1965 года в Институт мировой литературы имени А. М. Горького для постоянного хранения.

При арестах Воронского А. К. и Овчаренко Я. П. (Ивана Приблудного) рукописи не изымались.

Что касается личных записей, рукописей и писем Бабеля И. Э., Кочкурова Н. И. (Артема Веселого), Катаева И. И., Святополка-Мирского Д. П., Чаянова А. В. и Пильняка (Вогау) Б. А., изымавшихся при их аресте, то установить их судьбу в результате тщательных поисков и дополнительной проверки, осуществленной КГБ СССР, не представилось возможным.

Генеральный прокурор СССР А. Сухарев”.

Позвонивший мне по телефону помощник генерального прокурора Лаптев сообщил:

— Мы работу закончили. Рукописи, к сожалению, обнаружить не удалось...

Прокуроры и гэбисты, видимо, решили обойтись без нас. Закончили, чтобы не начинать. Почему мы должны им верить, если до сих пор они только и делали, что обманывали нас? Я ни минуты не сомневался, что это просто отговорка, желание поскорее отделаться от надоедливых литераторов. Ведь мы не заглянули еще ни в одно секретное досье, не узнали ничего об обстоятельствах последних лет и дней жизни репрессированных: за что они были арестованы, как выдержали следствие, что сказали в своем последнем слове на суде, как и когда погибли. Некоторые из них даже не реабилитированы и до сих пор числятся государственными преступниками. Да и в полное исчезновение рукописей не верилось — они могли оставаться в делах хотя бы как улики, вещественные доказательства “преступлений”.

Я атаковал Карпова:

— Это надувательство, нас просто водят за нос. Мы сами должны познакомиться с делами. Иначе люди скажут: ваша комиссия — только ширма для того, чтобы закрыть, а не открыть архивы. И будут правы!

Поворчав и поохав, Карпов забрался в свой черный лимузин, и мы покатили в прокуратуру.

Печально знаменитый дом на Пушкинской улице, наводящий страх на советских людей, встречал нас любезно: пригласили в кабинет Андреева, начальника управления, надзирающего за законностью в органах безопасности, предложили чай, — но, стоило заговорить о деле, начали недоумевать:

— Но работа уже проведена...

Я снова выложил свои аргументы. Андреев насмешливо оглядел меня и сказал, обращаясь к Карпову:

— Владимир Васильевич, я не понимаю... Если писатели ищут сюжеты, то у нас их сколько угодно. И каких! Вот, например, мы недавно разыскали в Бразилии одного полицая, фашистского палача, который во время войны расстреливал наших партизан. Чем не тема?.. Или еще. Есть сенсационные материалы о замечательном герое-подводнике Маринеско — вы о нем, кажется, писали когда-то, Владимир Васильевич? Фантастическая судьба!

И они заговорили о Маринеско. Продолжалось это довольно долго, Андреев уже начал поглядывать на часы: дескать, с вами хорошо, но пора и честь знать. Вот сейчас пожмет руку — и поминай как звали...

— Давайте все же вернемся к нашим делам, — встрял я. — Когда мы сможем начать работу?

Наступило неловкое молчание.

— А как вы ее себе представляете? — глядя в сторону, сказал Андреев.

— Думаю, надо создать рабочую группу, включить туда сотрудника прокуратуры, сотрудника КГБ и кого-то от нашей комиссии, от писателей. И начнем изучать одно за другим досье репрессированных... Все, что имеет историческую и литературную ценность, будем публиковать. Это и есть творческая реабилитация. А если человек не реабилитирован и юридически, — это уже ваша забота, ваша епархия...

— Как вы сказали? — спросил Андреев. — Группа из трех человек? Это что, снова тройка?

— Антитройка! — выпалил я. — Тройки расстреливали без суда и следствия, творили произвол и расправу, а антитройка будет делать как раз обратное — возвращать истину и справедливость...

Все развеселились.

— Есть еще одно отличие, — сказал Карпов. — В тройку входил, кроме прокурора и чекиста, представитель партруководства, а в антитройку вместо него — писатель...

— Так и должно быть! — Я чувствовал, что сейчас все решится, и продолжал напирать: — Да, представитель общественности, а коль речь идет о литературе, то писатель. — И еще добавил демагогии: — На то она и перестройка!

— И кого же вы предлагаете в состав этой группы от писателей? — опять спросил Андреев.

— А вот Шенталинский пусть и работает, — засмеялся, показывая на меня, Карпов. — Любая инициатива должна быть наказуема.

— Подготовьте официальное письмо, и мы его рассмотрим, — подытожил Андреев.

Всю обратную дорогу Карпов иронизировал надо мной:

— Раз сообразил на троих, сам и расхлебывай... — А потом пообещал: — Ну ничего, я тоже внесу свой вклад. Поговорю там, в высоких сферах... Не одному же тебе, мулодцу, сражаться...

И он, как видно, вошел в азарт.

А вот молодцом я себя не чувствовал, скорее наоборот. На душе было погано.

Сколько можно доказывать очевидное? — разговаривал я сам с собой. Почему это заботит их меньше, чем меня? Ведь этим они давно должны были заняться, и не из энтузиазма — по обязанности, по долгу службы! А ведь все только начинается, и мы еще ни разу не переступили порога Лубянки, не встретились ни с кем из ее обитателей... Нет, я вовсе не хотел быть смельчаком и застрельщиком! Почему надо просить, обивать пороги, искать опоры в каких-то “высоких сферах”? Как это, в сущности, унизительно!

Все верно, все так, говорил другой голос. Но чего ты ждал? Ты вошел в контакт с государством! Таковы уж правила игры. Не хочешь — не принимай, уходи со сцены, возвращайся в свое тихое одиночество, в свое подполье... А если уж взялся — не ропщи, терпи. Считай, что это тоже часть твоего дела, может быть, самая неприятная... И потом, вспомни о тех, за кого ты хлопочешь. Что такое все твои передряги рядом с тем, что выпало им?..

И вот уже мы принимаем гостей.

То ли нажим на прокуратуру помог, то ли опять Александр Яковлев, то ли другой член Политбюро, бывший председатель КГБ Чебриков, с которым, как мне доверительно поведал Карпов, у него была беседа где-то на даче или в санатории, — так или иначе, но в Союз писателей пожаловали с Лубянки двое, подтянутых, молодцеватых, веселых: генерал Струнин, руководитель пресс-бюро КГБ, и полковник Краюшкин из Архивного управления.

Расположились в просторном кабинете Карпова, украшенном портретами основоположников соцреализма, коврами с изображениями народных акынов, помпезными подарками и сувенирами уходящей эпохи.

Как полагается, для начала — шутки-прибаутки, увертюра на отвлеченную тему. Хозяин кабинета рассказывает, что вот здесь, за этим столом, пересидели все столпы нашей словесности: Горький, Фадеев, Федин... А уж сколько народу прошло через эту дверь — считай, вся наша литература. Но знаете, чей это был кабинет еще раньше, при Владимире Ильиче?.. Самого отца народов, Сосо Джугашвили. Да-да, здесь размещался когда-то Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей — и возглавлял его Сталин...

Наконец переходим к делу.

— Вот Анатолий Афанасьевич Краюшкин — тот человек, который вам нужен, — говорит Струнин. — Он займется этой работой. Считайте, что вам повезло.

— Мы в своем архиве уже провели разведку, — вступает Краюшкин. — Кое-что нашли и передали в Главное архивное управление. Можете с этими материалами познакомиться. — И, выдержав паузу, огорошивает: — Обнаружены дневник Михаила Булгакова, например, эссе Андрея Белого, записки историка Тарле, актера Олега Даля... — И скромно умолкает.

Немая сцена.

— Ни Булгаков, ни Белый не были репрессированы — как попали на Лубянку их бумаги?

— Случалось... Разными путями, не будем вдаваться... Важно, что они сохранились.

— Да, важно, что сохранились, эти материалы уже спасены. Конечно, познакомимся, будем готовить публикацию. Но что с нашим списком, с досье репрессированных?

— Тут сложнее, — говорит Краюшкин. — На следственных делах стоит гриф “Секретно” или “Совершенно секретно”. Показывать их частным лицам мы не имеем права — закон!

— Какие же мы частные лица? Мы официальная общественная комиссия, организация! Что же теперь делать?

— Вам — ничего, нам — лишняя работа. Подумаем, будем искать выход. Посмотрим сначала сами, что там есть, в этих делах, — это ведь когда было, несколько поколений сотрудников у нас сменилось с той страшной поры. Между прочим, тоже жертв было немало — репрессии и чекистов не обошли... Ваш список — вот он, передо мной. С кого начнем? По алфавиту — с Бабеля? Не возражаете? Запишите телефон...

**Против закона**

Казалось, теперь дело сдвинулось. Мы получили копию интереснейшего дневника Михаила Булгакова, готовили его к публикации. Но эйфория от встречи с гэбистами постепенно улетучилась.

Я регулярно звонил на Лубянку.

— Перезвоните через месяц...

— Мы изучаем дело. Поймите, это процесс, у нас много работы...

— Вы нас, пожалуйста, не торопите...

— Краюшкин в командировке...

— Краюшкин в отпуске...

Шли месяцы. Комиссия работала. После сообщения о ее создании к нам хлынула лавина писем, бандеролей, люди присылали, приносили стихи, прозу, воспоминания, документы, фотографии и рисунки, приезжали из других городов, чтобы отдать то, что они писали и прятали годами и десятилетиями под угрозой обысков и арестов. Тут было свое и чужое, переданное кем-то на хранение, случайно уцелевшее, известных, малоизвестных и вовсе неизвестных авторов. Один старик привез из Сибири свой тюремный дневник — почте он не доверял, ночевал на вокзале (жить в Москве ему было негде), а наутро явился в комиссию и вручил свои тетради:

— Вот возьмите, напечатайте! Теперь, я верю, пришло время...

Нас услышали! Услышали и те, кто увидел в нас своих врагов, кто или сам принимал участие в репрессиях, или оправдывал их. Анна Андреевна Ахматова еще в годы первой оттепели сказала: “Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили”. Они, эти две России, смотрели в глаза друг другу, и сейчас, быть может, еще решительней и непримиримей, чем прежде.

Палачи и стукачи преспокойно разгуливали среди нас и, в отличие от своих жертв обеспеченные долголетием и здоровьем (власть их всегда подкармливала), пережидали перестройку в своих благополучных квартирах и на дачах с надеждой на ее скорый конец.

Были такие и среди писателей. Ясно, чего они боялись: в случае открытия лубянских архивов их имена всплывут — и плодотворная работа в жанре доноса получит массового читателя. Но больше было таких, кто не принимал нашей инициативы просто по убеждениям, — твердокаменных, неизлечимых сталинистов.

В январе и марте мы провели заседания комиссии, на которые приехали люди со всей страны. Это были бурные, горячие обсуждения. Оказалось, повсюду от Балтики до Тихого океана есть энтузиасты, бережно собирающие и хранящие память о самом трагическом периоде истории нашей литературы.

Архив комиссии неудержимо рос и требовал выхода к читателю.

Репрессированное, Потаенное Слово. Передо мной, как говорил великий Ломоносов, “открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна...”. Я понял, что историю нашей словесности надо писать заново, что мы еще не знаем ее и что известное нам — лишь наружная, внешняя часть того айсберга, который зовется советской литературой.

Тем временем третий член антитройки, кроме Краюшкина и меня, прокурор Александр Валуйский уже включился в работу: сообщил о реабилитации ученого и писателя Александра Чаянова и поэта Осипа Мандельштама; разыскивал по своей линии материалы, касающиеся судьбы Бабеля.

А в КГБ все то же. Глухая стена. Я гадал: они, наверно, проверяют меня, прежде чем допустить в архивы, — но сколько же это будет продолжаться, да и какой компромат они могут найти? Дело скорее в другом: политическая ситуация в стране резко менялась, наступление демократии приостановилось, консерваторы брали реванш. Горбачев метался между теми и другими, пытаясь сохранить равновесие, соединить несовместимое, — исход был не предрешен. И все колебания стрелки политического барометра отражались на ходе нашего дела: если перестройка захлебнется — не видать нам лубянских архивов как своих ушей! Но ведь нельзя же ждать до бесконечности!

И в один из разговоров с Краюшкиным, доведенный до точки кипения, я не выдержал:

— Анатолий Афанасьевич, поймите в конце концов: мы просим отдать то, что вам не принадлежит, то, что ваши предшественники украли у народа!

Тут не выдержал Краюшкин:

— Ну знаете, если вы так с нами будете разговаривать, о какой совместной работе может идти речь? — И бросил трубку.

И снова — провал. Такое чувство, что ты залез в лабиринт — и вот остановился и уже не знаешь пути ни вперед, ни назад...

Я составил письмо от Союза писателей председателю КГБ Крючкову — он в это время в своих многочисленных интервью распинался о гласности. В письме говорилось, что по непонятным причинам сотрудники КГБ не идут навстречу просьбам и требованиям писателей и не хотят сесть с нами за один рабочий стол, что комиссия Союза писателей — профессиональный орган, через который архивные материалы могут быть переданы общественности без опасности каких-либо искажений и провокаций... Мы не видим никаких убедительных мотивов для дальнейшего оттягивания столь важного для литературы и общества дела...

Карпов подписать письмо отказался: это демарш, лучше позвонить.

— Звоните сейчас!

После долгих препирательств он все-таки набрал номер по “вертушке” — особой прямой связи, соединяющей его кабинет с верховной властью, включая и КГБ. К телефону подошел заместитель Крючкова Пирожков, разговор произошел, но тон Владимира Васильевича при этом был такой, что я понял: ждать нечего.

Летом мы с Володей Леоновичем поехали на Соловки — острова в Белом море, на которых размещался первый советский концлагерь, — и там, где начинался ГУЛАГ, решили, что надо опубликовать протест: работу комиссии саботируют, КГБ перекрыл нам кислород!

— Ни в коем случае! Таким наскоком Лубянку не напугаешь, а спугнешь и все испортишь, — обдал меня холодным душем Юрий Карякин, второй, с кем я обсуждал это заявление. — Продолжайте действовать как раньше: давите... А я со своей стороны могу подключиться как народный депутат, поднять этот вопрос на съезде.

Он был, конечно, прав: Лубянка, как раковина, приоткрылась, но одно неосторожное движение — и захлопнется вновь, да еще и руку отхватит. Спасибо Карякину! Вовремя меня остановил.

Вскоре после этого разговора — уже шел август — раздался звонок Краюшкина:

— Приезжайте. Материалы готовы.

Лубянка — крепость в центре Москвы, гибрид сросшихся друг с другом многоэтажных тяжелых зданий, подкованных гранитом, соединенных надземными и подземными коридорами, увитых лестницами и антеннами, облепленных, как жуками, черными машинами. А перед ней, посреди площади, срывающейся вниз к театрам и гостиницам, Манежу и университету, — памятник Дзержинскому. Воткнут в небо, прямой как штык — Железный Феликс в шинели до пят, зорко озирающий с высоты гудящую столицу.

До сих пор я, как и большинство моих сверстников, видел лубянскую гидру только снаружи, обходил стороной, но все равно она втягивала в свое поле, действовала на нервы, гипнотизировала. Каждый гражданин нашей необъятной державы знал, что он живет под прицелом Лубянки, что в любую минуту в его жизнь может вмешаться Лубянка и сделает с ним, что захочет, а защиты от Лубянки нет.

До революции на площади размещалось страховое общество “Россия”. После революции здесь поселился “госстрах”, “госужас”: пулеметной очередью прострочило нашу историю — ЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ... И ни один человек из двухсот с лишним миллионов не уберегся, не остался в стороне, все так или иначе пострадали, и если не гибли физически, то жили с изувеченной совестью, контуженным сердцем, деформированным сознанием — никто не был вполне свободным, полноценным человеком.

Массивные тройные двери впускают с шумной, душной площади в просторный прохладный вестибюль. Пристальные прапорщики проверяют пропуск, внимательно изучают паспорт. Широченная лестница и над ней — белый бюст Андропова. Бесконечный коридор с высоким потолком — можно кататься на велосипеде или скакать на коне; по сторонам вереница дверей. Тихо, даже пустынно. Судя по всему, антураж за многие годы мало изменился, все как тогда...

Небольшой кабинетик на третьем этаже. Белые шторки скрывают улицу. На столе — пухлая желтоватая папка. Краюшкин улыбается:

— Кажется, вы первый писатель, который пришел сюда добровольно.

Улыбаюсь в ответ: та же мысль крутилась только что и в моей голове.

Он вручает мне фотографию и несколько машинописных страничек.

— Это снимок Бабеля из следственного дела и суть самого дела.

Листаю. Скудная выжимка из материалов следствия, в основном общеизвестные факты, биографические данные...

— Но я могу поработать с самим делом? Хотя бы несколько часов?

— Нет.

— Это что, государственная тайна?

— Да нет, тайны здесь нет никакой, как и в большинстве других подобных дел. Но есть секреты, сугубо ведомственные, которые наше руководство не считает нужным разглашать.

— Что именно?

— Ну, номер следственного дела, например, фамилии следователей, агентурные донесения... Мало ли что.

— Зачем же это теперь скрывать?

— Видите этот гриф? — начинает заводиться Краюшкин. — “Совершенно секретно”! Пусть Верховный Совет, правительство пересмотрят правила, развяжут нам руки. Вы что, предлагаете нам нарушить закон, толкаете на преступление?

— Но я же не смогу сказать, что держал в руках дело Бабеля!

Он опять улыбается и протягивает мне папку:

— А вы подержите...

В прокуратуре мне повезло больше. Валуйский разыскал “Надзорное производство № 3904-39” на Бабеля — такие досье заводили на осужденных органы прокуратуры. Прежде чем показать его — там тоже красовался гриф “Секретно”, — Валуйский спросил:

— А на Лубянку вас пустили?

— Да, — отвечаю, а сам думаю: пустили, но не допустили.

— И дело Бабеля видели?

— Видел, — уверенно отвечаю я, ничуть не кривя душой.

Я погрузился в содержимое прокурорской папки. Оно оказалось куда интересней тех листочков, которые я получил в КГБ: здесь, во-первых, находились копии некоторых документов из следственного дела № 419 на Бабеля и самое интересное — его рукой написанные заявления в прокуратуру перед самой гибелью.

Вскоре эти материалы появились в “Огоньке”, ими открывалась новая постоянная рубрика “Хранить вечно”. И там я дал все: и номер дела, и имена следователей-палачей, и донесения сексотов.

Реакцию Лубянки на эту первую публикацию я ждал с тревогой: что скажут там, увидев в журнале то, что скрывали? И реакция не заставила себя долго ждать.

Краюшкин был мрачен:

— Где вы взяли материалы, в прокуратуре? Ну, я так и понял... С вами хотят поговорить в нашей пресс-группе. Заходите потом ко мне.

В кабинете Струнина сидели несколько незнакомых мне людей.

— Мы не против того, чтобы открывать архивы, — сказал один из них, — но давайте договоримся: есть вещи, которые не имеют отношения к литературе, а целиком относятся к нашей компетенции. Вот вы начали знакомиться с делами. Вам встретятся агентурные донесения — ни к чему их публиковать, а если уж цитируете, скажите просто: “НКВД стало известно”, откуда — не важно... Зачем вам осведомители?

“Народ должен знать своих стукачей”, — вспомнил я чью-то фразу, а вслух сказал:

— Что вы так за них переживаете? Это уже история полувековой давности. Значит, снова цензура, полуправда?

— Ну зачем же так?.. Но, дорогой Виталий Александрович, Павлика Морозова мы вам не отдадим.

— Павлик Морозов — уже не герой нашего времени.

— Но классовой борьбы никто еще не отменял!

— В том-то и дело, что отменили. И в этом главная заслуга Горбачева, самое важное, что он сделал, — провозгласил приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми! Как-то не все это еще заметили...

Мои собеседники замолчали. Говорить сразу стало не о чем.

— Все же мы полагаемся на вашу корректность, осмотрительность, — сказали мне на прощание. — Вы же нам не будете показывать, что напишете?

— Почему же? Когда будет напечатано, с удовольствием подарю, а как же иначе, — развел я руками.

Я понял, что публикацию мою они проглотили, смирились, профилактическую работу все же решили провести.

Законы устарели, стали анахронизмом, но продолжают сковывать жизнь. Разумные люди в КГБ это понимают, а как люди в погонах — должны подчиниться, не могут обойти закон. Когда же это делается чужими руками — могут умыть свои.

Дело Бабеля опять было на столе. И я наконец открыл его.

— Куда мне вас посадить? — спросил Краюшкин.

Мы, переглянувшись, захохотали...

Когда я добрался до последней страницы, то увидел на задней обложке приклеенный пакет с надписью: “Собственноручные показания Бабеля”. Пакет был пуст.

Немало времени потребовалось, чтобы добиться возвращения этих бумаг на место. И вот теперь я мог сказать правду о последних днях жизни Исаака Бабеля.

**НАСЛЕДНИКИ ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА**

**“Куда вас посадить?..”**

Сижу на Лубянке. Добровольно. И еще благодарю за это. Вот времена!

Иду туда не спеша, замедляя шаг, — словно набираю воздух перед глубоким погружением. Гремит вокруг, содрогается, колотится об асфальт людская и машинная толчея. Мутная будничная волна. Суетливые, невеселые лица. Площади обратились в барахолку — торгуют все и всем, от мала до велика, от жратвы до шмоток, от водки до колготок, только что купленным в магазине и ворованным, а то и припрятанным про запас, на черный день, — вот он, этот черный день, настал! Умер социализм — ура! — родится капитализм — караул! — стремительно, на глазах, в гримасах и корчах.

Ныряю в метро — всплываю наружу. Буравлю толпу на Кузнецком мосту, — впереди, закрывая полнеба, вырастают граниты Лубянки. Прокручиваюсь через тройные тяжелые двери. Молоденький солдатик сверяет фамилию с пропуском, фотографию с лицом. Проходите!

Поднимаюсь на третий этаж к сотрудникам архива, точнее, отдела регистрации и хранения архивных фондов, как это здесь называется. В кабинете двое, чинов их не знаю, ни разу не видел в погонах. А вот натуры проявились.

Игорь Петрович — худенький, быстрый, ему всегда некогда, завален делами, говорит мало, но любезно, вполголоса, смотрит прямо в глаза. Аккуратен, педантичен, но делает только от и до — что прикажут, в спорных и трудных случаях отмахивается: “Пусть начальство решает, я человек маленький...”

Полная противоположность ему — Вадим Михайлович, сидящий напротив, с мощной фигурой и выпирающим брюшком. Крут, шумен и безапелляционен, этот никуда не спешит, все делает небрежно, как нечто его недостойное, папки не кладет, а швыряет: “Вот и дыши тут этой пылью!”

Если с Игорем Петровичем работать все-таки можно, то от его коллеги веет неприязнью, необъяснимой враждебностью. Он вообще терпеть не может пишущую братию, журналистов и писателей — эту “прэссу”, произносит он презрительно, — видит в ней чуть ли не главную причину нынешних общественных бед. Как-то я вступил с ним в спор на этот счет, с тех пор он на всякий вопрос, недослушав, демонстративно отрезает: “Не знаю! Ничего не знаю!”

Сегодня Вадим Михайлович со мной даже не здоровается, глядит в сторону. В комнате висит гроза.

— Из Ленинграда вам опять делб не прислали. Говорят, бумаги на упаковку нет, — разводит руками Игорь Петрович.

Что за ерунда! Явная отговорка. Вечно он прибедняется, жалуется на трудности работы. Копию сделать — ксерокс сломан; темновато в комнате — лампочек не выдают, дефицит. Теперь вот не во что обернуть посылку... Не знаешь, верить или нет.

— Ну что ж, пока в Ленинграде ищут бумагу, займемся другими делами? — предлагаю я.

— Вы мешаете работать! — подает голос Вадим Михайлович. И уже тоном приказа, начальственно: — Найдите другое помещение!

Так. Не поддаваться на провокацию. Мимо, мимо.

— Игорь Петрович, где я буду работать?

— Вы же знаете, как у нас трудно с этим делом, — вздыхает тот. — Уж и не знаю, куда вас посадить...

“Куда вас посадить?..” — этот вечный их вопрос, обращенный ко мне, элементарный, бытовой, но всякий раз срабатывает его второй смысл, дает о себе знать неизжитый комплекс советского человека, контуженного Лубянкой.

Снова встревает неугомонный Вадим Михайлович. Глядя, как его коллега достает из сейфа папки для меня, бросает:

— Ты давай им, давай, а они потом за фамилии наших агентов гонорар получат!..

И тут я срываюсь. Предохранитель соскакивает.

— Что за хамство! — ору. — Пока такие, как вы, здесь работаете, Лубянка останется Лубянкой! И все ее будут ненавидеть! Станьте же человеком — постарайтесь хоть что-то понять!..

Вадим Михайлович багровеет и молча выходит, хлопнув дверью.

Потом, уже в бесконечном лубянском коридоре, Игорь Петрович успокаивает:

— Вы его извините, что-то он психует последнее время...

— Раненый зверь опаснее, — отвечаю, а про себя думаю: ведь и я психую. Как глупо все получилось! Как ненужно!

И пакостно на душе.

Так началось еще одно мое утро на Лубянке. Посадили все-таки меня и на этот раз, нашли куда...

Окно — во двор, заваленный какими-то контейнерами и ящиками. Многоэтажный колодец совсем скрывает небо, откуда долетают, перепархивая вниз-вверх, одинокие снежинки. Таким, наверное, и видели мир узники здешней тюрьмы.

Должно быть, похолодало. А здесь душно, стоячий воздух.

Обычный для Лубянки кабинет. Письменный стол, рядом — другой, с телефонами, некоторые с гербами. Особая связь? Шкаф, вешалка, большой металлический сейф в углу. Есть и экзотика: на мраморном подоконнике — обвисшее деревце лимона. Для “оживляжа”, для веселости души.

Тишина. Тикают часы. Хозяин, видно, совсем недавно покинул кабинет. Кто он? Снят с работы за участие в августовском путче? Или, наоборот, получил повышение? Болен? На задании? Меня предупредили:

— Ничего здесь не трогайте...

На стене — большая карта Москвы и памятный лист в рамке: “Работа чекистов тяжелая, неблагодарная в личном отношении, очень ответственная и важная в государственном... Чекист только тогда может быть борцом за дело пролетарское, когда он чувствует на каждом шагу себе поддержку со стороны партии и ответственных перед партией руководителей...”

Бедняги! Нет уже у них теперь ни поддержки, ни партии. Нет хозяина! Приказал долго жить!

“Слабые на искушения товарищи не должны работать в ЧК.

Каждый сотрудник должен помнить, что он призван охранять советский революционный порядок и не допускать нарушения его... Успех работы наших органов определяется следующими чертами: верность делу ленинизма, беззаветная преданность наших работников делу трудящихся, сплоченность чекистской семьи, стальная дисциплина наших рядов”.

Феликс Дзержинский...

Ну что ж, Феликс Эдмундович, вы и поможете переключиться в другое время, которое ждет меня на столе в распахнутой папке. Там — то, что вы и ваши наследники, “горячие сердца, холодные головы и чистые руки”, творили семьдесят лет во имя революционного порядка. Тогда, при вас, великая русская революция в муках и крови утвердилась, теперь, при нас, тоже в крови и муках — умирает.

Тишина. Тикают часы.

В середине дня, направляясь в столовую, я вдруг оказываюсь с Вадимом Михайловичем в лифте. Наедине. Летим вниз, не глядя друг на друга. И я ловлю себя на мысли, что уже совсем не злюсь на этого человека.

Что же так его корежит, бесит? Кто я для него? Гнилая интеллигенция, бумагомарака. И прихожу сюда с прямо противоположной целью, чем такие, как Вадим Михайлович, — открыть то, что они старательно прячут. И ничего не поделаешь, не выгонишь.

В сущности, их можно понять. И даже пожалеть. То, что произошло с этими людьми при перестройке, — тягчайшая психологическая драма, а для многих — полное крушение судьбы. Воспитанные партией и КГБ, эти “бойцы невидимого фронта” привыкли к своей особой роли — смотреть с Лубянки на Москву, да и на всю страну, зорким оком, как на зону с охранной вышки, привыкли сознавать свою значительность уже по одной принадлежности к грозному учреждению. Нельзя жить, не уважая себя, не уважая своего дела. Но как уважать дело Лубянки, если его проклял весь народ, если слово “чекист” стало ругательством? А он, Вадим Михайлович, всю жизнь этому делу служил, всю жизнь этим делом гордился! Значит, надо или проклясть себя прежнего, или проклясть всех!

Может, он вовсе и не меня ненавидит, а то, что с ним сделали, свою собственную невезуху? Каково ему и его сослуживцам было смотреть, когда разъяренная толпа стаскивала с постамента их идола — Железного Феликса, чертила свастику на мемориальной доске Андропова и пыталась штурмовать их гранитную цитадель с криками: “Долой КГБ! Фа-ши-сты!..”

Вопрос в том, что будет, если все вернется, если Лубянка обретет прежнюю мощь? И поверженный Феликс снова займет свое командное место на постаменте в центре Москвы? Ведь внутри Лубянки он еще жив. И может выскочить! Будут ли обитатели Лубянки служить прежнему хозяину? Кто-то, наверное, уже не сможет. А вот такие, как Вадим Михайлович, пригодятся...

**Главный секрет Лубянки**

Столовая на Лубянке ужасна. Это все старые сказки, что здесь перекармливают и задешево. Обыкновенная советская столовка. Дорого и плохо. Здоровые мужики, стоя в очереди, ломают голову, что взять, чтобы и желудок был полон, и кошелек не пуст. Какое-то сплошное томление. И обслуга как везде — сумрачная, неприветливая. Но как вспомнишь, что эта столовая — на месте бывшей внутренней тюрьмы, сразу все эти мелкие мыслишки из головы прочь. Сразу наша жизнь хорошеет.

Что-то я там ем, уже как бы усмиренный, подобревший. Но — везет сегодня на общество. Подсаживается такой рыжий, вертлявый и подмигивает для начала. Пожевали вместе. Тут он делает, как говорят на Кавказе, движение на сближение:

— Извините, можно спросить? А вы не художник?

— Что-то вроде этого. Пишу я. Литератор.

— А-а... То-то я смотрю — очень вы выделяетесь среди наших. Извините, а что у вас тут за дело?

— В архиве работаю.

— А-а... понятно.

Жуем дальше. Глаза у моего собеседника интересные — вращаются, все время бегают в разные стороны.

— Извините, можно спросить? А что, вы думаете, надо делать?

— Как то есть?

— Ну вы видите, что происходит. Черт знает что! Надо делать что-то. Как ваше мнение?

— Что делать... — говорю. Ничего себе, как нагло раскалывает и где — в самом сердце Лубянки, в бывшей тюрьме. Это уж слишком! — А что делать? — говорю. И вспоминаю песенку, чтоб отделаться: — Жить! Шить сарафаны и пестрые платья из ситца... Ха-ха...

— Ха-ха!.. — подхватывает он. — Нет, надо что-то делать. Так не пойдет, ведь нельзя же быть — вне. Ведь кого-то вы поддерживаете, какую-то партию? Кто вам ближе? Извините, я просто так спрашиваю, интересно.

— Никогда ни в какой партии я не был и не хочу быть. Мне и так хорошо.

Принимаемся за второе.

— Интересно, — говорит он. — Очень интересно. Вы извините, но ведь один-то что сделаешь? Ничего. Нужны ведь идеи какие-то, цели общие...

— Да они давно есть, — отвечаю, — чего их искать! Мы их только забыли.

— Какие же?

— Да вечные, на чем земля стоит... И зачем обязательно сбиваться в стаю?

— В стаю? — переспрашивает он.

— Ну да, в стаю, в партию. Вполне достаточно просто быть человеком. Это так много — не сносить.

Он смотрит на меня в упор. Глаза остановились. И вдруг заявляет:

— А вы знаете, я тоже так думаю! — И хохочет.

Выпит компот. На том и расстаемся.

В дверях столовой меня остановило объявление:

“Уважаемые посетители! За прошлый месяц из торгового зала унесено: тарелка детская — 70 шт., тарелка десертная — 117 шт., тарелка пирожковая — 173 шт., вилка, нержавеющая сталь, — 40 шт., вилка алюминиевая — 40 шт., нож, нержавеющая сталь, — 21 шт., стакан — 170 шт.

Всего на сумму 3057 руб.

Пожалейте нас, мы тратим за утрату посуды из своих средств. Возвратите, пожалуйста, в столовую приборы и посуду. Очень вас просим.

Весь коллектив столовой”.

Другую сторону двери тоже украшала листовка:

“Итоги рейда.

Проведен рейд по сбору посуды в кабинетах дома № 2 (второй и третий этажи). Благодарим сотрудников, оказавших нам помощь.

В результате проведенного рейда возвращено в столовую: вилки алюминиевые — 29 шт., ложки чайные — 12 шт., ножи — 3 шт., тарелки — 43 шт.”.

Не поленился — записал в блокнот. Надеюсь, я не унес с собой какую-то тайну, грифа “Секретно” на бумажке не было. Хотя, может быть, это и есть на сегодня главный секрет Лубянки?..

Но вот как стремительна наша история! Каждый день несет новые сенсации, открывает новые секреты. Вчера написал эту страницу, а сегодня телевидение сообщает об отстранении от службы целого отряда генералов и офицеров ГБ. Причина самая низменная — незаконное присвоение дач, квартир, лимузинов, вплоть до хищения партии телевизоров и холодильников... И курьез с тарелками, вилками и стаканами в лубянской столовой перестал быть забавным.

**Пост номер один**

— А как вы думаете, изменилась ли Лубянка? Многие ведь считают, что органы какими были, такими и остались, лишь вывеску сменили в который уж раз.

— Я так не думаю. Изменения произошли и происходят. Мы — частичка общества, и те настроения, которые есть в обществе, есть и у наших сотрудников...

Мы сидим в кабинете генерала Краюшкина, да, уже генерала; после очередного заседания антитройки Анатолий Афанасьевич угощает меня крепким чаем с вкусными московскими баранками. Этот человек — высокий, статный, с ясным лицом и крепким рукопожатием — когда-то поначалу показался этаким образцово-показательным офицером-службистом, но чем дольше связывала нас работа по открытию архивов и чем лучше я его узнавал, тем больше выходил он за рамки моего трафарета, раскрывался все ярче и неожиданней.

Однажды я сказал ему:

— А знаете, вы замечательный работник тайной службы.

— Почему?

— Мы уже столько раз встречались, а я почти ничего о вас не знаю...

Что-то он тогда рассказал о себе, и я при встречах все расспрашивал и записывал эти беседы. Уж неизвестно, продолжали ли органы вести досье на меня, но я вижу теперь, листая свои дневники, что все это время вел некое досье на Краюшкина, с которым больше всего имел дело на Лубянке, досье со своими “протоколами допросов” и “анкетой”...

Родился он в 1945 году в Калуге. Русский. Отец — агроном, мать — бухгалтер. Вырос на Урале, откуда после школы пошел в армию. Служил в отдельном полку специального назначения, охранявшем Кремль. Потом — Высшая школа КГБ, диплом юриста-правоведа со знанием иностранного языка. Работа в контрразведке: Новороссийск, Челябинск — охрана секретности на оборонных предприятиях. В 1976-м переведен в Москву. Начал работать в архиве — на загородном объекте, затем в центральном аппарате: заместитель начальника архива, заместитель начальника всего Отдела регистрации и хранения архивных фондов, теперь начальник этого отдела, существующего в Министерстве безопасности на правах самостоятельного управления.

Семья — жена и два сына. Внерабочие пристрастия — дача, любит возиться с землей. Обожает театр, любимый поэт — Сергей Есенин, к детективам и шпионской литературе равнодушен.

В Москву приехал старшим лейтенантом — и вот генерал. Быстрая карьера, ускорившая свой темп на гребне перестройки. Внешне линия судьбы пряма, как стрела, летящая к цели. Но были, как оказалось, и у нее свои зигзаги.

В нашем разговоре за чаем с баранками я решил копнуть поглубже. Больше всего меня донимал вопрос, почему все-таки Краюшкин, симпатичный мне человек, оказался в организации, от которой все хорошие люди шарахаются. Я наседал на генерала со своими настырными вопросами, как следователь, и вот его “показания”, данные на этом “допросе”.

**Вопрос.** Почему вы все-таки пошли работать в органы?

**Ответ.** Ну, это все не так просто. Вы удивитесь — я мечтал быть актером. Еще в школе участвовал в концертах, занимался в кружках — драматическом, танцевальном, музыкальных инструментов. Многие находили способности, предрекали артистическое будущее. И даже поступал в театральное училище. И даже поступил...

**Вопрос.** Ну и что же?

**Ответ.** Человек предполагает, а судьба располагает. Приезжаю на радостях домой, а там повестка — в армию. Служил три года. Но служба была необычная — полк спецназа, охрана Кремля. И я считаю, это мне посчастливилось, что меня среди немногих отобрали для несения караула у Мавзолея Ленина и внутри Мавзолея, у саркофага...

**Вопрос.** Так это вы там стояли? На посту номер один? А я всегда, глядя на этих ребят, думал: интересно, что у них в голове? Мог и вас видеть, как вы застыли с винтовкой или маршируете под звон курантов. Кажется, двести десять шагов... Трудно это физически?

**Ответ.** Почти пятьсот часов отстоял, значит, у Мавзолея... Конечно, моральное напряжение действует, ответственность, ты же сознаешь все-таки, что стоишь у всех на виду. И когда маршируешь, хочется, чтобы это выглядело красиво.

**Вопрос.** Наверно, и девушка знакомая приходила посмотреть, как вы маршируете?

**Ответ** (со смехом). А как же! Не без этого. И родители приезжали навестить, причем как раз выбрали день, когда я стоял на карауле. Смотрели, гордились...

**Вопрос.** Ну, увела нас эта дорожка к Мавзолею от вашего актерского будущего. Почему все-таки вы оказались не на сцене, а в КГБ?

**Ответ.** А вот во время этой службы в Кремле подошел ко мне как-то сотрудник особого отдела, который обслуживал в оперативном плане наш полк, и предлагает: “Не пойти ли тебе учиться и работать в органы безопасности?” Я отвечаю: “Ну, у меня вообще-то другие планы”. — “Знаю, — говорит, — о твоих планах, но ведь наша работа, она в чем-то схожа с тем, о чем ты мечтаешь. Есть что-то общее. Подумай...” И постепенно, в результате долгих размышлений у меня созрело решение. Я думал, что, если идти в искусство, надо быть очень уверенным в своем таланте, чтобы не оказаться на десятых ролях. У меня такой уверенности не было. Способности — одно, а профессиональная жизнь — совсем другое. Я все-таки отношу себя к людям с честолюбием.

**Вопрос.** И не жалеете теперь, что на развилке судьбы такой выбор сделали?

**Ответ.** Знаете, жизнь складывалась и сложилась так, что я свои возможности в немалой степени реализовал и на службе в органах. Она ведь и интеллекта требует, и импровизации. Любой человек в жизни так или иначе играет свою роль — ведь так? Если взялся за дело, нужно полностью ему отдаться, только тогда раскрываешься и можешь проявить себя и найти... И все же театр, мир искусства меня постоянно волнует. Смотрю, к примеру, фильм, и нет-нет да прорывается, говорю жене: “А я бы лучше сыграл!” И, бывает, так защемит сердце, что вот не пошел я по этой стезе...

(Он снова смеется, хотя видно, что я задел в нем что-то очень подкожное, но такова уж привычка: о личном, не относящемся к делу, говорить иронически, со смешком — дескать, лирика!)

Но я не жалею, ни о чем не жалею. Значит, так было суждено...

(Последние слова он произносит уже серьезно, как бы убеждая самого себя... Такой вот он, Краюшкин. Уж если делает какое-нибудь дело, то это — пост номер один. Повышенное чувство долга и благоговение к святыням родины — будь то мощи вождя или теперь архивы Лубянки. И не реализованные в искусстве творческие способности, которые он сумел не растерять, воплотить на своем другом поприще. Деловые и человеческие качества его оказались созвучны духу нового времени, потому оно его и затребовало.)

**Вопрос.** Вы коммунист? (Продолжаю атаковать генерала.)

**Ответ.** Был, конечно. В органах вообще не было беспартийных, такого не допускалось. Но после августовского путча, как вы знаете, вышло решение президента — деполитизировать органы. И я был безусловно за это решение, потому что считаю: мы должны стоять на страже интересов законной власти, ориентироваться не на какую-то ту или иную идеологию, а исполнять закон. Иначе всегда есть угроза, что органы выродятся в охранку и станут постоянным источником государственных переворотов.

**Вопрос.** И все же, Анатолий Афанасьевич, вы много лет были коммунистом, убежденным, как я понимаю. Когда же произошла эволюция в ваших взглядах? Не в один же миг в результате путча?

**Ответ.** Конечно, взгляды изменились не зараз, не в одно мгновение, и все же больше в последние годы, в последние. Сама судьба складывалась так, что не давала остро ощутить социальные несправедливости, не сталкивала с особыми трудностями. Со школьной скамьи — в армию, причем в спецполк; из армии — в Высшую школу КГБ и сразу в эту организацию, которая существовала достаточно изолированно от общества. В результате мне и не пришлось как следует увидеть и почувствовать жизнь простых людей или, допустим, интеллигенции со всеми их болями и проблемами. Мы жили как бы на дистанции от всех и со своими специфическими задачами.

**Вопрос.** Кстати, хочу задать вам вопрос, как тот, краеугольный в лубянских анкетах: что вы делали до семнадцатого года? что вы делали во время путча, вы знали о нем заранее?

**Ответ**. Да что вы! Я никак в этом не запачкан, ни краешком! Для меня это было полной неожиданностью. Ехал утром на работу и в машине по радио услышал... Все эти дни мы на Лубянке сидели как на еже. Смотрели из окон, как стаскивают статую Дзержинского, как буйствуют и угрожают штурмом. Были готовы ко всему. Но совершенно четко я сознавал, что руководство наше пошло против народа, против хода истории, да и против нашего желания. Это все, конечно, стало очень сильным поворотом в сознании: вот опять нас хотят столкнуть с обществом, использовать в своих целях...

**Вопрос.** Но и при новом руководстве у вас не все было гладко. Мне рассказывали, что вы даже подавали заявление об уходе?

**Ответ**. Было такое, подавал. Потому что почувствовал, что меня в чем-то подозревают, не доверяют. А при таких условиях работать я не мог. Но заявление мне вернули. И вот — даже доверили большой пост. Я ведь все эти годы, когда шли политические баталии, занимался вполне конкретным делом — архивами. И реабилитацию нынешнюю одним из первых раскручивал...

Я знал, что это действительно так. В моем “досье” на Краюшкина были тому “вещественные доказательства”: я обнаружил, что еще задолго до перестройки в архиве началась подспудная работа — выискивались и выделялись в специальную картотеку данные о репрессированных деятелях искусства и литературы. И проводил эту работу Краюшкин.

Сколько раз, проходя по площади Дзержинского, я бросал взгляд на огромное, нависающее над Москвой здание Лубянки и содрогался, спешил отвести глаза от этого монстра! Камни Лубянки обдавали враждебностью, смертельным холодом, зашторенные окна смотрели слепыми бельмами. Никогда не думал, что мне суждено будет войти туда и даже работать там, читать и перечитывать залитые кровью и слезами документы истории, искать истину, спасать и воскрешать арестованное слово.

И вот двери Лубянки приоткрылись. И я увидел ее теперешних обитателей — разных, всяких, тоже захваченных водоворотом истории, людей военных, исполняющих приказ, но и в рамках приказа проявляющих свою внутреннюю суть, делающих свой выбор. Весы добра и зла качаются здесь так же, как и всюду. Наследники Железного Феликса не пришельцы с неба, они действительно плоть от плоти и кровь от крови своего народа и будут такими же, каким будет весь народ, пойдут туда же, куда пойдет и он...

Глядя теперь на Лубянку, я уже не отвожу глаза, не испытываю страха, и лубянские окна для меня уже не слепы, за их шторами я вижу человеческие лица.

**ДОНОС КАК ЖАНР СОЦРЕАЛИЗМА**

**Учитель истории**

— Павлика Морозова мы вам не отдадим! — предупредили меня на Лубянке, имея в виду своих помощников — осведомителей, сексотов, стукачей, весь этот бесчисленный тайный орден, растворенный в народе.

Прославленный герой нашей истории пионер Павлик Морозов донес карательным органам на своего отца, председателя колхоза, покрывавшего кулаков. Отца расстреляли. На этом примере нас воспитывали, эти уроки мы все и обязательно проходили. И каждый усваивал их как мог...

В школе, где я учился, царила скука: зубрежка, учителя, читавшие уроки по учебникам, регулярные, придуманные теми же учителями общественные “мероприятия”, собрания по политическим датам — сплошное занудство. Но вот появился новый учитель, учитель истории. И сразу же стал для меня кумиром.

Уроки свои он вел потрясающе: не заглядывал в учебник, рассказывал то, чего в нем не было; расхаживая по классу и размахивая руками, он вываливал на наши головы вороха неизвестного — история в его рассказах оживала, разворачивалась перед нами вереницей невероятных событий и героев, и даже когда наступала перемена, мы не спешили срываться с мест. Он распахнул перед нами большой мир всех времен и народов и говорил о прошлом так, будто бы в нем жил. И главное — требовал, чтобы мы не зубрили, а думали, думали сами. Такого учителя я видел впервые. Его предмет казался самым интересным, и сама школа вдруг обрела смысл.

Но случилось происшествие, которое в одно мгновение похоронило эту мою влюбленность.

Класс наш считался неблагополучным — среди ребят были известные в округе хулиганы и воришки, некоторые уже выпивали и даже в школу иногда приходили под хмельком. Прекрасный учитель истории считался плохим воспитателем, и начальство не раз ему за это пеняло. А поскольку он еще был нашим классным руководителем, ему пришлось принимать меры, взяться за воспитание. Как-то перед уроком он подошел ко мне и тихо сказал:

— Слушай, кажется, Сашка Дементьев опять выпил. Понюхай и скажи мне.

Доверие мое к учителю было столь безгранично и слепо, что я не задумываясь сделал то, о чем он просил. От Сашки Дементьева — здоровенного дылды, переростка, уже третий год сидевшего в одном классе, — действительно несло сивухой. О чем я и доложил учителю. И тут же понял, что сделал подлость. Но было уже поздно.

— Дементьев! — крикнул учитель. — Ты опять пьян! Убирайся из школы! И пока твой отец ко мне не придет, здесь не появляйся. Позор! Юный алкоголик Советского Союза!..

Ребята загоготали. А я, я себя ненавидел. Рухнул и мой кумир. Но урок доносительства, который преподал тогда учитель истории, запомнил на всю жизнь.

**Писатели доносов**

Все советские писатели делятся на три категории: одни стучат на машинках, другие перестукиваются, а третьи — просто стучат... Это казалось бы анекдотом, если б не было сущей правдой.

Конечно, жанр доноса существовал во все времена. Но никогда еще он не расцветал таким махровым цветом, как у нас в нашей новейшей истории.

Навязанный сверху пресловутый метод соцреализма вторгся и в искусство, и в саму жизнь. Он требовал отражать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой должна быть, и жить не своей жизнью, а предписанной правящей идеологией. А поскольку в этой идеально организованной, стерилизованной жизни не оставляли места тем, кто мыслит и живет иначе, надлежало их выявлять и безжалостно искоренять всеми способами. В искусстве — строжайшей цензурой, в обществе — стуком и репрессиями. Стукачество было объявлено почетным долгом каждого гражданина, а недоносительство — преступлением.

Среди писателей этот жанр развивался, как ему и положено, во всем многообразии форм, со своей стилистикой и своими корифеями-классиками. Был, например, донос глобальный, призыв к расправе над целыми слоями населения, сословиями и классами: дворянством, буржуазией, духовенством, зажиточным крестьянством (кулаками), интеллигенцией — всей этой контрой, с которой большевикам не по пути, которой не было места в коммунистическом завтра. Перевоспитывать их дело хлопотное и, пожалуй, безнадежное — не лучше ли разом покончить, вычеркнуть из истории?

Мы залпами вызов их встретим —
К стене богатеев и бар —
И градом свинцовым ответим
На каждый их подлый удар...
Клянемся на трупе холодном
Свой грозный свершить приговор —
Отмщенье злодеям народным!
Да здравствует красный террор!

Так писал поэт революции Василий Князев, автор “Красного Евангелия”, очень популярной в свое время книги. Призывая к кровавой расправе, Князев и себе накликал гибель: он сам попал под “красное колесо” террора, сгинул в колымском концлагере и был брошен в общую могилу.

Существовали доносы по долгу службы, по обязанности. Все ведомства, организации, большие и маленькие конторы должны были постоянно и бдительно следить за поведением и сознанием своих работников и докладывать о них куда надо. Особенно бдили за творческой интеллигенцией, за писателями — работниками “идеологического фронта”. Редакции газет и журналов, издательства, цензурная сеть, ну и, конечно же, само министерство литературы — Союз писателей — по существу, превратились в негласные филиалы органов, осуществляли контроль над словом и поведением литераторов, постоянно информируя о них партийные и карательные инстанции, отдавая на расправу палачам “поштучно и оптом”. Придет время, и мы узнаем, как руководители Союза писателей Ставский, Павленко и Гронский отправили за решетку, на гибель неугодных им поэтов Осипа Мандельштама и Николая Клюева. Изрядно потрудился на этом поприще и другой многолетний вожак писательского союза — Александр Фадеев. Сейчас много спорят о его роли в массовых репрессиях: одни говорят, что он губил своих коллег, другие — что защищал и спасал. Кого-то, возможно, и спас. Но, изучая архивы Лубянки, я натыкался на документы с подписью Фадеева: “С арестом согласен...” Фадеев, разумеется по приказу Сталина, просто обязан был визировать, одобрять расправы над писателями. Власть, изолируя и уничтожая неугодных ей художников, делала это иезуитски ловко — как бы от имени самой литературы, втягивая, впутывая в свои черные дела самих ее служителей. Не случайно именно в пятьдесят шестом, когда из мест заключения один за другим стали возвращаться оставшиеся в живых репрессированные писатели, Фадеев застрелился. Это был выход из тупика совести и творчества. “Я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни”, — напишет он в предсмертном письме. Свою причастность к правящей подлости и клевете он решил искупить смертью.

На службе у власти состояла и целая армия тайных агентов, штатных и добровольных, платных и бескорыстных. Насчет “тридцати сребреников”, причитающихся предателю, существовала специальная инструкция ВЧК, разработанная еще в 1921 году: “Субсидии денежные и натурой, без сомнения, будут связывать с нами... а именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность”. Плотной сетью окружали доносчики человека на воле, и даже когда он попадал за решетку, к нему подсаживали так называемых наседок, которые выведывали у него нужную для следствия информацию и склоняли в нужную для следствия сторону.

Доносительство стало заурядным, бытовым явлением, расползшимся по стране гангреной.

Нет у меня, признаться, никакого желания выводить на чистую воду и называть многочисленных авторов, отдавших дань ядовитому жанру, да и не стоят они того — слишком много чести. Но из истории, как из песни, слова не выкинешь. Во всех главах-досье в моем повествовании оказались рассыпаны перлы стукачей, иногда подписанные подлинными именами, чаще — агентурными кличками, псевдонимами. Что делать — ни один арест, ни одно следственное дело не обходилось без плодотворной деятельности тайных агентов, за каждой жертвой репрессий проступают и шествуют их предательские тени.

В материалах, с которыми я познакомился на Лубянке и принесенных в Комиссию по наследию репрессированных писателей, раскрываются все новые факты. Вот один из них — письмо-донос. Письмо короткое, но в нем наглядно видно, как действовал механизм доносительства, втянувший в себя целую группу писателей. Рабочим элементом его являлась цепь: довожу до вашего сведения и прошу сообщить куда следует то, что мне рассказали, что им сказали...

“Международное бюро

революционной литературы.

2 января 1928 г.

Дорогой товарищ Авербах, считаю нужным довести до твоего сведения о нижеследующем факте, относительно которого прошу тебя принять срочные меры.

Редакцию “Вестника иностранной литературы” посетил писатель Панаит Истрати, сообщивший о состоявшемся у него с т. Сандомирским разговоре. Сандомирский посоветовал товарищу Истрати ничего не писать ни о большевиках, ни о Советском Союзе. По мнению Сандомирского, если Истрати на эти темы будет писать, хваля на 99 % и порицая на 1 %, то этого обстоятельства будет достаточно, чтобы ему в лице большевиков нажить себе смертельных врагов. И не только он встретит недоброжелательство со стороны ВКП и Французской компартии, но может еще и испытать затруднения при выезде из СССР...

Истрати сообщил об этом разговоре не только мне, но и товарищам Динамову, Анисимову, Когану и, как я предполагаю, еще некоторым другим. Мы, как могли, постарались его успокоить и убедить его, что со стороны Сандомирского это была только шутка, но вряд ли нам удалось достигнуть успеха.

Я потому ставлю тебя в известность, что мы испытываем достаточно много затруднений, привлекая к нам симпатизирующих нам писателей, и подобная задача не может нам удасться, если будут продолжаться такие явления, как вышеупомянутый разговор.

С коммунистическим приветом!

Б. Иллеш”.

Не имеет значения, обращался автор письма Бела Иллеш к Авербаху как к главе Российской ассоциации пролетарских писателей или как к литературному советнику и близкому родственнику руководителя ОГПУ Ягоды, — результат мог быть только один. Нетрудно догадаться, что последним звеном этой цепочки были карательные органы, так как начальное звено стало жертвой — литератор Сандомирский был в конце концов арестован и расстрелян. Приведенное письмо сохранилось в его лубянском досье со специальной пометкой, запрещающей знакомство с этим документом кого-либо, кроме самих служителей органов. Ясно и другое: все в этой порочной цепочке были обречены на донос, потому что, не отреагируй на “преступный факт” один — отреагирует другой, и ты окажешься покрывателем или, хуже того, соучастником преступления.

От Москвы до самых до окраин оплела страну липкая паутина подозрительности и взаимной слежки. И спастись от нее не было почти никакой возможности.

Приходят в дом гости, болтают по пьянке о политике... И все повязаны. Не отреагируешь ты — настрочит он. Что делать?

Зловещий тридцать седьмой. Поэт Константин Седых пишет уполномоченному Союза советских писателей по Иркутской области поэту, товарищу Ивану Молчанову:

“Считаю необходимым довести до Вашего сведения следующее. 30 ноября вечером ко мне на квартиру заявился небезызвестный Вам Ин. Трухин в сопровождении какого-то незнакомого мне человека, которого отрекомендовал мне и находившемуся в это время у меня Ан. Пестюхину (Ольхону) поэтом Рябцовским или Рябовским, точно не помню. Оба они были пьяны.

Подобный визит Трухина меня чрезвычайно изумил, так как никакого близкого общения у меня с ним нет. Поэтому я встретил его достаточно холодно. Но пьяному Трухину море по колено. Он извлек из кармана бутылку водки и стал приглашать выпить. В последовавшем затем разговоре Трухин, ничем и никем на то не вызванный, допустил гнусный контрреволюционный выпад против товарища Сталина. Слова его были таковы:

— Да что вы мне все! Да если на то пошло, так я и самого Сталина распатроню!

Я немедленно оборвал Трухина и заявил ему, что о его поступке доведу до сведения уполномоченного ССП. Затем я сразу же выдворил и его, и его приятеля из квартиры...

Трухин считает себя советским поэтом. Но за такими его словами, несмотря на то что сказаны они в пьяном виде, скрывается неприглядная физиономия враждебного нам человека. Мне, например, кажется, что если бы он был настоящим советским человеком, то не позволил бы такого выпада и пьяным...”

Быть может, Константин Седых действовал просто из чувства самосохранения. Но теперь товарищ Молчанов тоже должен был реагировать — и тут же направил послание своего коллеги в НКВД, товарищу Бучинскому: “5 декабря ко мне пришел поэт К. Седых и рассказал о фактах, описанных в заявлении. Я ему предложил все это изложить в письменном виде. Сразу же позвонил Вам...”

И вслед за этим добавляет и собственные заявления на нескольких литераторов. Стук с вещественными доказательствами:

“Посылаю также рассказ “Жаркая ночь”, присланный на консультацию к нам. Автор — П. И. Короб из Нижнеудинского аэропорта. Весь рассказ просто начинен контрреволюционными разговорами. Ответ автору я пока задержал...”

“Во время дежурства консультанта А. Ольхона приходил студент Финансово-экономического института Садок с рассказом “Иван Зыков”. По отзывам консультанта, этот рассказ — памфлет на советскую действительность, клевета на колхозы и колхозников... Идейная вредность рассказа вне сомнений... Был на консультации курсант школы военных техников Филиппович с пьесой “Враг”. Автор не лишен способностей. Но пьеса “Враг” заслуживает разбора лишь как политическая ошибка автора, который в силу своей идейно-политической близорукости написал антипартийную пьесу... Оценка пьесы может быть только одна: “Враг” — вредная, не советская пьеса...”

И так далее, и тому подобное...

А вот и два итоговых рапорта писателя доносов Молчанова о своей плодотворной работе в Иркутске. Первый — в Москву, верховному литературному начальству, генеральному секретарю правления Союза советских писателей Ставскому:

“Только после февральского Пленума ЦК ВКП(б), после изучения доклада и заключительного слова т. Сталина была развернута самокритика в литературной организации Восточной Сибири... За связь с контрреволюционными организациями исключены из Союза писателей А. Балин, Ис. Гольдберг, П. Петров, М. Басов... Все они арестованы органами НКВД. Была засорена чуждыми людьми окололитературная среда: начинающий писатель Новгородов, поэт В. Ковалев, поэт А. Таргонский...”

Второй адресован партийному начальству — в обком ВКП(б):

“В результате притупления бдительности областная организация Союза писателей оказалась засоренной врагами народа. Долгое время у руководства Союза стояли, оставаясь неразоблаченными, такие матерые враги народа, как Басов, Гольдберг, Петров и Балин.

Сразу же после разоблачения врагов народа правление было переизбрано. Новое правление немедленно приступило к работе по ликвидации последствий вредительства. В Союзе писателей, после арестов, остались два члена: И. Молчанов и К. Седых...”

Вот ведь как отчаянно боролись за линию партии — остались на боевом посту только вдвоем! Можете на нас положиться!

**Дятел**

И наконец портрет литературного стукача по призванию — крупным планом.

Органам он был известен по кличке “Дятел”, а “в миру” — как Борис Александрович Дьяков, прозаик и драматург, член Союза писателей.

Его нашумевшая “Повесть о пережитом” была среди первых книг о сталинских репрессиях, вышла почти одновременно с “Одним днем Ивана Денисовича” Солженицына и даже соперничала с ним в популярности. Дьяков предстает в повести как безвинная жертва, но лишь внешне напоминает солженицынского героя, по сути же — его полная противоположность. Он и в концлагере остается железобетонным большевиком, апологетом советской власти, рисуя репрессии всего лишь как досадную ошибку. По Дьякову получается, что зэки за колючей проволокой только о том и думали, как бы перевыполнить план и поусердней послужить партии и правительству. Автор писал эту книгу так, как если бы выполнял особое задание органов, стремясь отвлечь внимание от великой книги Солженицына и извратить правду в заданном направлении. Повесть Дьяков написал о себе. Да, и он, верой и правдой служивший власти, оказался за сталинской колючкой. И на него кто-то настучал...

В следственном деле Бориса Дьякова хранятся его многостраничные письма-исповеди, адресованные своим хозяевам — Госбезопасности и ЦК ВКП(б), послания, в которых четко запечатлелась вся его извилистая, как змеиный след, линия судьбы.

“Мое детство и первые юношеские годы прошли в обстановке дореволюционной жизни. Родился я в семье служащего, со всеми присущими этой семье пороками старой интеллигенции. Мое сознание начало формироваться в условиях советского строя. Еще несовершеннолетним я ушел в Красную Армию, с 1921 г. был на советской профсоюзной работе, а с 1929 г. начал работать в партийной печати. Мой характер и мои взгляды создавались, таким образом, в преодолении собственных недостатков и пережитков прошлого и — самое главное — в борьбе с врагами. Эту борьбу я вел неуклонно, без колебаний, особенно будучи советским журналистом”.

Итак, свою сознательную жизнь он начал, подобно Павлику Морозову, отрекшись от “порочных” родителей.

С органами Дьяков познакомился в начале своей литературной карьеры и работал на них добровольно, не за страх, а за совесть. Документы в его досье бесстрастно сообщают, что в 1936 году он был завербован в агентурную сеть Управления госбезопасности Сталинградской области под псевдонимом “Дятел” “для разработки контрреволюционных элементов” (далее перечислен ряд фамилий) — “вскоре все эти лица были арестованы как участники правотроцкистской организации...”.

Первый успех окрылил, и он продолжал стучать со все возрастающим рвением. Об этом он собственноручно пишет, когда, сам попав в клетку, ищет заступничества у своего бывшего руководства, перечисляет свои заслуги перед органами и отечеством — десятки загубленных судеб:

“Считаю своим долгом сообщить Вам, что я в течение ряда лет являлся секретным сотрудником органов, причем меня никто никогда не принуждал к этой работе, я выполнял ее по своей доброй воле, так как всегда считал и считаю теперь своим долгом постоянно, в любых условиях оказывать помощь органам в разоблачении врагов СССР. Это я делал и делаю. Вот факты...

В 1936 г. в “Сталинградской правде” был напечатан мой фельетон, нанесший удар по троцкисту Будняку, директору завода “Баррикады”. В 1937 г. в Сталинградском управлении НКВД мне сообщили, что Будняк расстрелян, а фельетон приобщен к делу как один из уличающих материалов...

Я сдал в НКВД материалы:

об антисоветской агитации, проводившейся отдельными лицами и группой лиц, работавших в литературе и искусстве, в частности о клеветнических произведениях местных писателей Г. Смольякова, И. Владского и других (осуждены органами);

о систематической вражеской агитации, которую вел финский подданный, артист Сталинградского драмтеатра Горелов Г. И., прикрываясь симуляцией помешательства (осужден в 1941 г.);

о враждебной дискредитации Терентьевым Ф. И. знаменитого советского писателя А. Н. Толстого на банкете в редакции в 1936 г.

Должен сообщить Вам, что мною были доложены также факты антисоветских настроений и поведения артиста Сталинградского драмтеатра Покровского Н. А. В нем глубоко заложено пренебрежение к советской драматургии, издевательское отношение к советской культуре, ко всей нашей действительности, к коммунистам, руководящим искусством. Он особенно изощрялся в распространении анекдотов...”

Из Сталинграда “Дятел” по поручению НКВД перебирается работать на Дальний Восток. И там берется за дело засучив рукава: “Осенью 1937 г. “Тихоокеанская звезда” напечатала мой фельетон “Под вывеской музыкальной комедии”, который вскрыл в Хабаровском театре группу антисоветчиков. Эта группа была репрессирована...”

Началась война. Фронта Дьяков сумел избежать — получил броню. Пока другие гибли под пулями, он продолжал карабкаться вверх по служебной лестнице: перебрался в Москву на руководящие посты в ЦК ВЛКСМ, издательство “Молодая гвардия”. И вот вершина карьеры — главный редактор художественных фильмов Министерства кинематографии. И тут он “боролся с вредными, безыдейными сценариями” и с их авторами, сообщая о “подрывной работе ряда лиц в советской кинематографии”.

С этой вершины он и слетел — попался в сеть той всеохватной 58-й статьи, которую сам помогал плести... Какая жестокая несправедливость! И как не вовремя! Ведь “лица, насквозь пропитанные буржуазным эстетством и насаждавшие голливудские нравы в сценарно-режиссерском деле, до сих пор гнездятся в некоторых звеньях советского кино. Я, с помощью министра кинематографии И. Г. Большакова, начал постепенно выявлять этих лиц и, если бы не мой арест, сумел бы до конца их разоблачить...”.

Но и в неволе “Дятел” не может угомониться: “Хотя я сейчас нахожусь в лагере, но меня не покидает беспокойство: в отдельных киноорганизациях находились лица, которые по собственной, а может быть, по чужой воле вредили делу дальнейшего подъема советской кинематографии, стремились выхолащивать идейную направленность наших фильмов... Все это я подробно изложил в заявлении от 29 мая 1950 г. на имя министра Госбезопасности...”

В лагере талантливые “дятлы” тоже очень нужны: “В октябре 1950 г. в Озерлаге, на лагерном пункте 02 я выдал органам письменное обязательство содействовать им в разоблачении лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Это содействие я оказываю искренне, честно и нахожу в этом моральное удовлетворение, осознание, что я здесь, в необычных условиях, приношу известную пользу общему делу борьбы с врагами СССР”.

И все же какая страшная ирония судьбы, какая обида! За что он так сурово наказан? Все чаще несутся из Сибири жалобные крики “Дятла”: “Ведь вся моя сознательная жизнь, вся моя работа должны убедить Вас в том, что я заслуживаю политического доверия... Не допустите, чтобы зря была загублена моя жизнь, мои творческие способности. Я могу, я хочу, я должен принести еще большую пользу...”

Что же стало в конце концов с этим человеком? Все в порядке! Вскоре после смерти Сталина он был освобожден, в числе первых реабилитирован, а поскольку в лагере кормили и содержали его куда исправней, чем других зэков, здоровье свое сохранил и продолжал плодотворно трудиться. Ходил в почетных ветеранах труда и жертвах ГУЛАГа, любил выступать перед молодежью с проповедями правды и добра.

В 1987 году стотысячным тиражом вышла его автобиографическая книга — уже не повесть, а роман-трилогия “Пережитое”. Второй лик автора — “Дятел” — в этой эпопее, конечно, скрыт. В одном из последних интервью Дьяков продолжает давний, неразрешимый спор со своим антиподом — Александром Солженицыным: “Кривить душой я не могу... Находясь в лагере, я, в отличие от Солженицына, наряду с негодяями встречал людей, не потерявших веру в силу ленинской правды, в конечное торжество социальной справедливости... Солженицын же все видел в черном свете”.

Ну а раз писатель-соцреалист Борис Дьяков так уверенно себя чувствует во времена гласности и провозглашенной демократии, то наверняка здравствует и его двойник “дятел”, — и тот жанр, в котором он так преуспел.

**Бессмертие жанра**

— Слушай, — спрашивает меня мой друг, поэт Анатолий Жигулин, — ты бываешь на Лубянке — скажи, что за люди там работают? Такие же, как те, что меня когда-то били?..

— Да я не так уж многих там знаю. Они ведь люди военные: приказали миловать — милуют, а прикажут бить — найдутся, наверно, и такие, кто будет бить. А вот ты мне скажи про нашего брата литератора, про тех, кто сидит в писательском клубе, треплется на всякие скользкие темы, изображает из себя свободного художника. Развяжет тебе язык — а потом строчит донос... И не по приказу, а по собственной охоте! Эти-то кто? Они ведь еще больше в подлянку играют!

— Ты прав, — говорит он, — к несчастью, ты прав. Стучали, стучат и будут стучать!..

Идет писательское собрание. На трибуне с пламенной речью — пожилая дама, известная общественница, автор книг о воспитании молодежи. Клеймит проклятое прошлое, ратует за перестройку. А между тем только что в печати опубликовано письмо ее сверстника, прекрасного прозаика Юрия Домбровского, в котором он рассказывает, как эта дама во время уно донесла на него и помогла засадить в ГУЛАГ. Домбровского давно нет в живых, а она — не опровергла, не покаялась, как ни в чем не бывало шествует по жизни.

Разворачиваю свежий номер журнала “Новый мир”. Читаю подборку стихов незаслуженно забытого поэта (талантливо!), а на душе кошки скребут: из лубянских архивов знаю, что он заложил целую плеяду таких же, как он, да и более талантливых, например Даниила Андреева — удивительного поэта-философа, сына известного русского классика. Надо ли теперь сообщать об этом читателю? Пусть лучше узнает хорошего стихотворца, чем еще одного стукача.

Включаю телевизор. Сценаристка и кинорежиссерша, пленяя зрителей лучистыми рысьими глазами и вкрадчивым голосом, вспоминает о своих давних друзьях — служителях искусства, канувших в Лету. Неужели это она — юная студентка, комсорг Литературного института — давала характеристику на другого студента, яркого и многообещающего Аркадия Белинкова, называла его антисоветским элементом, после чего он был осужден, больше десяти лет провел в лагерях и рано ушел из жизни?..

Когда наша Комиссия по наследию репрессированных писателей начала работу, тут же пошли телефонные звонки:

— Вы не имеете права этим заниматься! Это дело государственных органов! Вы еще пожалеете! Мы найдем на вас управу!

Кому наша комиссия не понравилась, встала костью поперек горла? Прежде всего тем, кому было что скрывать, чего бояться, — палачам и доносчикам. В Союз писателей и в редакции, где публиковались наши материалы, посыпались письма-угрозы вроде этих:

“Злые мстители писатели! Создав комиссию, вы доказали, что злость и яд берегли для мщения над мировым победителем — И. В. Сталиным. Какой позор!!! Вы же писатели, или вы предатели? Кому же вы мстите? История никогда не простит вам предательства. История осудит тех, кто платит черной неблагодарностью товарищу Сталину. Все было справедливо. В каждой республике, области и районе судили людей коммунисты, и народ их поддерживал. Все было по закону...”; “Какую злобу змеиную таят в себе отпрыски предателей родины — вот такие все они, Шенталинские-Амалинские эти, и их множество, которые чернят нашу историю и И. В. Сталина! И эта злоба их выливается на нас, старых коммунистов, которые вместе с товарищем Сталиным шли к победе. Сейчас, умышленно подливая в огонь керосин, они развалили наш Союз, чернят Армию, КГБ. Отпрыски ищут в архивах всякую грязь, лишь бы очернить И. В. Сталина, давшего нам, простым людям, жизнь...”

Звонки и письма с угрозами исходили от сталинистов, которых еще немало вокруг нас. Но вот... Прихожу однажды на Лубянку, а там мне, между прочим, сообщают: поступили сигналы о том, что ваша работа может принести вред обществу, на имя председателя КГБ Крючкова получено письмо, в котором его просят запретить показывать вам секретные материалы, что вы не имеете на это права, что могут быть извращены факты, что вы можете подорвать репутацию заслуженных людей; мы с вами, конечно, работу продолжим, но должны вас предупредить, чтобы вы были осмотрительней в выборе материалов для публикаций, вы все-таки имейте в виду, что гриф “Совершенно секретно” еще действует.

Как выяснилось потом, автор этого письма Крючкову оказался внуком одного из репрессированных писателей, за вызволение рукописей которого я ратовал и с материалами следственного дела которого работал. Этот внук знал о нашей комиссии, был москвичом — что ему стоило снять трубку и напрямую высказать мне свои опасения?

Все же потом, уже после публикации моего очерка о его знаменитом деде, он позвонил со словами благодарности и... смущенно признался о своем письме Крючкову. Но тогда сработал стойкий советский комплекс жаловаться начальству, да и не какому-нибудь, а уж чтоб наверняка — самому председателю КГБ!

Что же все-таки нам делать со своими стукачами?

Сейчас в связи с открытием секретных архивов на общество обрушилась лавина разоблачений. Широко обсуждается сотрудничество с органами политиков, священнослужителей, писателей, ученых. И чаще всего это используется, увы, не для торжества исторической истины, а для сведения счетов и в целях сегодняшней политической борьбы, компрометации противников, то есть все для той же злобы дня.

Появились саморазоблачения. Некоторые писатели каются в грехах доносительства, при этом иногда чуть ли не ставя себе в заслугу подобные покаяния. Все перемешалось — правда и ложь, смирение и гордыня — и еще больше запуталось.

Кто осмелится взять на себя роль Божьего суда?

Стукачи уже получили наказание — исказили свое человеческое лицо, запятнали совесть, извратили душу. Сам грех предательства — уже наказание.

**ПОПРАВКИ К ЭНЦИКЛОПЕДИИ**

**Разбитое зеркало правды**

В дни августовского путча 1991 года, подхваченный водоворотом событий, глядя на Лубянку глазами восставших против насилия людей, я не мог не думать о своем: а что с архивами, с бесценными рукописями и документами, сокрытыми там? Ведь тому же Крючкову ничего не стоит одним росчерком пера обречь их на уничтожение. Что происходит внутри Лубянки?

Как оказалось, и там шла борьба. И пока одни, вроде Крючкова и послушных ему, проворачивали путч, другие делали все, чтобы его сорвать. Одни уже составили арестные и даже расстрельные списки, а другие не только не привели их в действие, но и сообщили о них тем, кого должны были арестовать или расстрелять, — команде Ельцина. Одни отдали приказ о взятии Белого дома, другие отказались его выполнять.

Трудно с полной достоверностью сказать, что творилось в этот роковой час в архивах — сердце Лубянки. Ходили всевозможные слухи, в печати мелькали разноречивые, пугающие сообщения. Органы сжигают свои тайны... Вывозят на машинах и где-то прячут... По другим источникам, архивариусы защищались с двух сторон: игнорировали указания своего высшего начальства об уничтожении документов и баррикадировали входы в хранилища от возможного нападения разъяренной толпы. Сами они, понятно, не очень-то разговорчивы на этот счет. Но как я уяснил из их скупых рассказов, все архивные фонды, за исключением каких-то оперативных материалов, хранившихся в других многочисленных управлениях и отделах Лубянки, остались в целости и сохранности.

Впервые за годы советской власти незыблемые лубянские стены дрогнули. Органы потеряли своего всесильного патрона — деятельность компартии была приостановлена. Началась ельцинская постперестройка, стремительный распад одряхлевшей Системы. Советские республики одна за другой объявляли о своей независимости. И вместе с уходящим 1991 годом мы проводили в прошлое и президента Горбачева, и само государство, в котором прожили всю жизнь, — Советский Союз!

У лишенных всесильной партийной опеки органов одним махом словно бы вырвали ядовитое жало. Там царила лихорадка, растерянность, деморализация, кадровая чехарда. Пытаясь приспособиться к скачущей галопом истории и не свалиться под ее копыта, КГБ, как хамелеон, менял наименования: сначала превратился в МСБ (Межреспубликанскую службу безопасности), потом на короткий срок, вобрав в себя милицию и получив непомерную власть, напугав всех призраком былого НКВД, вдруг раздулся в МБВД (Министерство безопасности и внутренних дел), сократился до АФБ (Агентства федеральной безопасности), переделался в МБР (Министерство безопасности России)... Что дальше?

В это же время, после указа Ельцина о рассекречивании партийных и прочих архивов, начали медленно, со скрипом приоткрываться и двери спецхранов. В стране разразился архивный бум. Общество не было к нему готово. Среди наводнивших прессу открытий и разоблачений встречалось немало и несерьезных, непроверенных сенсаций, и прямой дезинформации — провокаций и фальшивок.

Людей, и без того во многом разуверившихся, растерянных от нахлынувших событий, еще больше сбивали с толку; такой подогрев только усугублял смуту и сеял недоверие и злобу, грозил новым социальным взрывом. Больное, наэлектризованное, привыкшее ко лжи общество с трудом воспринимало правду, не знало, что с ней делать. Казалось, людям вовсе не нужна эта большая, тяжелая и опасная правда, каждый предпочитал иметь маленькую, облегченную, свою. В глобальных масштабах случилось то, с чем мне и раньше приходилось сталкиваться в своей работе, поскольку комиссия с самого начала была в эпицентре общественных страстей и мнений, и что я называл про себя эффектом разбитого зеркала: единственная и неделимая правда, попадая к людям, разлеталась на мириады осколков, мелких правдоподобий, в которых уже не увидишь лица целиком.

После первой же моей публикации — об Исааке Бабеле — я услышал такой упрек из уст своей знакомой, весьма интеллигентной женщины:

— Ты льешь воду на мельницу антисемитизма. Что получается: Бабель на следствии предал своих товарищей, заложил их органам. Вот и скажут теперь: все они такие — евреи...

Было и другое мнение, очень известного писателя, который сам прошел через ГУЛАГ:

— Напрасно вы так расписали этого русофоба Бабеля. Темная лошадка. Циник. Он был вполне советский человек, вертелся возле органов, якшался с палачами, служил в ЧК, влез в дом Ежова. Пока самого не забрали... Вот и доигрался.

Потом вышла статья о судьбе Павла Флоренского — и опять посыпались обвинения, теперь уже от лица масс:

— Многие в патриотических и церковных кругах считают, что ваша публикация в “Огоньке” — провокация сионистов. Сейчас Православная церковь собирается канонизировать Флоренского как святого, великомученика. А вы говорите, что он поддался следствию, подписал, что он фашист... Какой же он, в таком случае, святой? Все это, конечно, не случайность, а результат заговора с целью сорвать канонизацию, клевета на Россию...

— Экстремист, разрушитель, антисоветчик, — аттестовали меня незыблемые большевики, которые никак не могут поступиться своими принципами. — На кого замахиваешься? На КГБ, щит и меч революции?

И просто рассмешил один приятель, который под хмельком отвел меня в уголок и таинственным шепотом предупредил:

— Знаешь, о тебе говорят, что ты — капитан ГБ. Спрашивали меня, интересовались... Простого смертного, мол, к своим архивам они не допустят...

— Ну и что ты ответил?

— А я сказал, что ты полковник! — заржал он.

— Вот спасибо. Но ты перебрал, слишком хорошо обо мне думаешь. Я только лейтенант...

Так из меня сделали сразу и юдофоба, и жидомасона, и экстремиста, и гэбиста в одном лице.

**Фонд № 7**

Как-то утром мне позвонил Краюшкин:

— Я сегодня еду в Бутово. Не хотите ли составить компанию? Думаю, вам будет небезынтересно. Это надо увидеть...

Был лучезарный, просторный день осени. После затяжных холодных дождей купол неба вдруг распахнулся, и с него приветливо глянуло солнце, пригрело и разгладило лица. И даже скучные, плоские фасады домов зажглись, заиграли, перебрасываясь золотистыми бликами в окнах. Вдоль шоссе немыми застывшими кострами пламенели деревья...

Накануне на Лубянке мне впервые показали папки из сверхсекретного Фонда № 7, который здесь скрывали от посторонних глаз дольше всего, до последнего времени убеждали, что он не сохранился, исчез — навсегда. И вот... нашелся.

Было что скрывать! Фонд № 7 — это предписания к расстрелу и акты о приведении в исполнение приговоров судебных и не судебных органов бывшего СССР, а проще говоря — расстрельные списки. Начиная с 1921 года эти документы брошюровались в толстые папки и постепенно составили гигантское собрание: 400 томов! В них — страница за страницей — шел сплошной ряд фамилий, сотни, тысячи, помеченные красной галочкой: приведено в исполнение. Читать невозможно — к горлу подступал ком.

Тут, в этой многоступенчатой гробнице исторической памяти, была спрятана правда о последнем круге советского ада. И понадобился августовский путч, крушение коммунистической власти, чтобы эта правда была извлечена на свет.

Архивист протянул мне папку № 182, открыл на закладке.

— Вы запрашивали данные о смерти Эфрона...

“Ты уцелеешь на скрижалях!” — написала Марина Цветаева в стихах, посвященных мужу — Сергею Эфрону. Знала бы она, на каких скрижалях, кроме книг, уцелеет его имя!

На дворе — осень девяносто первого. А в папке — то, что творилось ровно полвека назад, осенью сорок первого. Грохочет и горит земля, немцы приближаются к Москве, молох войны безжалостно перемалывает тысячи и тысячи наших соотечественников. И в московских тюрьмах — тоже кровавая страда, столицу спешно “очищают” от “врагов народа” — здесь работает другой молох, свои собственные фашисты.

“Начальнику Бутырской тюрьмы НКВД

майору ГБ тов. Пустынскому.

Выдайте коменданту НКВД осужденных к расстрелу нижепоименованных лиц:

1. Эфрон Сергей Яковлевич... 2... 3... (Всего 136 человек. — *В. Ш.*)

Основание: распоряжение зам. наркома Внутренних дел тов. Кобулова.

Начальник Тюремного управления НКВД

майор ГБ Никольский.

16 октября 1941 г.”.

И на том же листе ниже — от руки:

“АКТ

16 октября 1941 г. мы, нижеподписавшиеся, привели в исполнение приговоры о расстреле 136 (сто тридцать шесть) человек, поименованных выше сего.

Начальник комендантского отдела НКВД майор ГБ...

Начальник 17 отделения I спецотдела ст. лейтенант ГБ...”.

Подписи неразборчивы...

Трудно, почти невозможно сейчас представить, как все это было в тот осенний день, может быть, такой же просторный и лучезарный. Как выкликали их из камер, собирали, пересчитывали, как торопливо заталкивали в закрытые автофургоны с надписями “Мясо” или “Хлеб”, выкатывали из ворот тюрьмы и мчали по московским улицам к месту расстрела — куда? Одному Богу известно. Может быть, по той же самой дороге — в Бутово?

Мы выехали с Лубянки на двух машинах: в первой, кроме нас с Краюшкиным, поместился журналист, уже несколько лет ведущий поиск мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий, во второй — съемочная группа американского телевидения Эй-би-си. Доругой я рассказал своим спутникам о небольшом исследовании, которое провел после вчерашнего знакомства с расстрельными списками. Вернувшись домой, я просто взял Литературную энциклопедию, выписал из нее столбиком даты смерти писателей, погибших в годы террора, а рядом — истинные даты их гибели, которые стали известны из лубянских архивов. Фальсификация была налицо. Чтобы скрыть правду, сотрудники карательных органов произвольно “разносили” даты, намеренно их искажали. Родственникам осужденных сообщали о приговоре: “Десять лет без права переписки” — и близкие искали их, надеялись и ждали, в то время как тех уже давно не было в живых. И даже во времена так называемого раннего реабилитанса, в середине 50-х, вершители закона продолжали традицию лицемерия и лжи: указывали в справках о реабилитации лживые даты и причины смерти репрессированных. Эти даты до сих пор значатся во всех энциклопедиях и справочниках, в научных трудах и популярных изданиях, вводя в заблуждение современников. Так уродовалась история...

— Это делалось по приказу свыше, от партруководства, — сказал Краюшкин. — А вы заметили, как сдвинуты даты — в основном на годы войны? Не случайно, пусть, мол, считают, что убиты на фронте. Такая логика!

— А что думают писатели об увековечении имен погибших коллег? — спросил журналист. — Нужен памятник, мемориал!

— Нужен, — говорю, — но какой? Уже собирались, обсуждали. В Доме литераторов висит мемориальная доска в память о тех писателях, кто погиб на войне, — семьдесят имен. Предложили повесить такую же доску с именами репрессированных. Но ведь места не хватит, все стены будут исписаны — и внутри и снаружи... А там — кафе, ресторан...

— Проблема, — усмехнулся Краюшкин. — Но мертвые, как говорят, сраму не имут. А вот что делать с живыми? Ведь наш архив не академическое собрание, а минное поле, он взрывоопасен, он тысячами нитей связан с сегодняшней жизнью. Ну вот вы публикуете фамилию какого-нибудь сотрудника НКВД — палача. И поделом ему — он заслужил бесчестье. Но вы представьте себе его родных. Вдруг оказывается, что любимый дедушка, почетный человек, орденоносец, имя которого произносилось в семье с гордостью, был мучителем и убийцей. Каково принять такую правду детям, внукам? Ведь бесчестье ложится на всю семью! И сколько таких случаев! Взрывается мина замедленного действия, и от нее страдают ни в чем не повинные люди.

— У меня был другой случай, — вспоминаю я. — Прихожу к вам в архив, а мне говорят: мы передаем вдове писателя Н. рукописи ее мужа, случайно сохранились в деле, посмотрите, может быть, там есть что-то ценное для литературы. Открываю папку — а там переписка этого писателя с любовницей... И я сразу увидел его вдову: как она, больная, старая, приходит, с трепетом берет эти листки, читает... Что с ней будет?! Нет, говорю, не давайте это, не показывайте!..

— Но вы же сами требуете: откройте архивы, отмените цензуру! — смеется Краюшкин.

— Для таких случаев закройте архивы! Введите цензуру! Есть личная тайна человека, принадлежащая ему одному. И есть безопасность личная, кроме государственной...

За окнами машины мелькают пригородные дачи. Свернули с шоссе на боковую дорогу и минут через десять стали. Вот и Бутово. Крепкая крашеная ограда, ворота с проходной будкой, из которой сразу вышел к машине какой-то человек. Как оказалось, это еще не то Бутово, в которое мы ехали. Здесь размещается дачный поселок КГБ, человек, ожидавший нас, — провожатый. За ним-то мы и заезжали.

То Бутово, которое нам было нужно, находилось чуть дальше, по другую сторону дороги. Опять забор, но потемневший, обветшалый, покосившийся. Откуда ни возьмись появился сторож — в довольно затрапезном виде, в линялом тренировочном костюмчике, всклокоченный и небритый. Почему-то совсем не помню, как мы проникли за этот забор, помню, что не сразу и не просто — чуть ли не раскручивали какую-то проволоку, скреплявшую калитку, или раздвигали доски, — хорошо отпечаталось в сознании несоответствие ожидаемого и увиденного, трагической значительности места и будничного бесхозного запустения.

Мы оказались в большом, пронизанном солнцем саду. Ряды приземистых яблонь, развесистых, с тяжелыми ветвями, полными румяных, спелых плодов, уходили в даль, казалось, бесконечную. Двинулись в глубь сада по неровной, поросшей травой земле. Заработала видеокамера американцев, сопровождаемая голосом нашего попутчика — журналиста:

— Здесь, под нами, в этой земле, на которой вырос такой роскошный сад, лежат десятки тысяч расстрелянных людей. Сюда в самый пик репрессий из разных тюрем Москвы привозили в закрытых фургонах приговоренных. Расстрельные команды работали в страшной спешке, день и ночь, под заглушающий шум моторов. Выстраивали людей рядами над вырытым заранее рвом — в последний раз взглянуть на белый свет — и палили... Заполнив яму, забрасывали землей и готовили другую... Я опрашивал местных жителей, стариков, разыскивал свидетелей. Не хотят говорить, вспоминать об этом, да и боятся до сих пор. Но кое-что все-таки удалось узнать. Рассказывают, что вон там, направо, стоял домик, где отдыхала расстрельная команда, хранилось оружие. Это были конченые люди. Накачивались спиртом и все равно недолго выдерживали. Говорят, некоторые сходили с ума, были случаи самоубийства. Их регулярно заменяли свежими силами...

Водила своим глазом камера. Звучал нервный, с хрипотцой голос журналиста, но первоначальный напор его слабел, а слова все более казались ненужными, лишними.

Мы застыли в середине сада, окруженные со всех сторон его ослепительными плодами. Дальше идти не хотелось. Американцы, поначалу улыбчивые и шумные, примолкли, помрачнели. Изредка сад словно вздыхал — от порывов ветра качались ветви, срывались и кружились пожухлые листья, шелестела листва.

— Бутово — одно из самых страшных мест на нашей земле, — сказал журналист. — Но сколько еще таких! И нет на них ни памятников, ни вечного огня...

Съемки закончились. Мы уже собирались уходить, когда журналист вдруг сорвал с дерева яблоко и протянул американскому коллеге:

— Вот, возьмите на память.

Американец протянул руку и... тут же:

— Нет-нет, нет, не надо. Спасибо.

Журналист, смутившись, неловко положил яблоко на землю. Всем стало не по себе. Я взглянул на Краюшкина. Лицо его было каменным. Он что-то тихо сказал, я не расслышал.

— Что-что?

— Несчастная страна...

**Лев Толстой на Лубянке**

“Не могу молчать! — поднял свой голос великий Толстой, когда царское правительство приговаривало к смертной казни террористов-революционеров. — И происходит это в России, в России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни...”

Толстой напоминал, что в 80-х годах по всей России был только один палач, а теперь число их растет с каждым днем. Речь шла о терроре контрреволюции в ответ на террор революции — разбойные нападения крестьян на помещиков, покушения на представителей власти.

“Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду...” — заявляет Толстой. И требует, чтобы власти или прекратили убийства, или же казнили и его самого, как “тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу”. И вывод, обращенный к власти: “...участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь”.

Статья Толстого потрясла мир — была перепечатана всюду. Царская власть ответила на это громогласное выступление молчанием. Зато революционеры — те, чью жизнь защищал писатель, — не молчали. В том же 1908 году Владимир Ульянов-Ленин опубликовал свою статью “Лев Толстой, как зеркало русской революции”, в которой не церемонился с классиком, называл его “помещиком, юродствующим во Христе”, “смешным” пророком, “открывшим новые рецепты спасения человечества”, утопистом и реакционером.

Так одним росчерком пера вождь пролетарской революции разделался с теми общечеловеческими, вечными христианскими ценностями, носителем и защитником которых был Толстой. Чем же тот не устраивал Ленина? Да как раз гуманизмом, призывом к милосердию, защитой данного Богом права человека жить независимо от того, революционер он или контрреволюционер. По существу, в двух этих статьях — Толстого и Ленина — ясно выражены две диаметрально противоположные философии: писатель видит корень зла внутри человека, а политик — вне его, в других людях, которые, таким образом, превращаются в смертельных врагов.

Увы, для будущего России Ленин оказался большим пророком, чем Толстой. Через десять лет в стране восторжествовало ленинское учение, а учение Толстого, как и предсказывал его оппонент, “лишилось всякого практического смысла”. Террор революции оказался несоизмеримым с террором контрреволюции — и по количеству жертв, и по числу палачей. В такой России Толстой просто немыслим, он с ней несовместим. И живи он в годы большевистского правления, не избежать ему карающего меча ЧК.

Но на Лубянке Толстой все же побывал — посмертно. Были репрессированы его дочь Александра, почти все ученики, сторонники его учения, — толстовцы. И слово великого писателя тоже, как оказалось, угодило в тюремный застенок...

Январь 1991 года. Глубинка России — Чувашия, город Чебоксары. Местное управление КГБ. Сотрудник комитета просматривает старое архивное дело некоего Почуева. Обычная папка и дело, конечно, дутое, сфабрикованное, как и тысячи других. В конце папки вклеен пакет, из которого ничего не подозревающий кагэбист извлекает какой-то потертый, серый конвертик, а из него — листок тонкой папиросной бумаги с машинописным текстом. И глазам своим не верит: “14 декабря 1909 г. Ясная Поляна...” — а внизу крупным, размашистым почерком — подпись от руки: “Лев Толстой”!..

Тут же летит сообщение высшему начальству в Москву, а вслед за тем и само дело: Лубянка хочет удостовериться собственными глазами. Так письмо попадает в руки антитройки — Краюшкин показывает его мне с нескрываемым ликованием. Через несколько дней, сверив подпись писателя и его правку, сделанную в письме, с известными автографами, убеждаемся: ошибки нет, и в самом деле — Толстой.

Кто же такой этот Почуев и каким образом толстовское слово попало в его следственное дело? Это как раз один из тех революционеров, чьи жизни защищал в свое время писатель. В 1909 году он был сослан на Урал, в Оренбург, за участие в восстании против царского правительства и работал там школьным учителем. И обратился он оттуда к яснополянскому мудрецу с вечным вопросом, с каким обращалось к тому множество русских людей: как жить, в чем состоит главная цель жизни? Вот что ответил Толстой:

“Николай Александрович, ничего не могу сказать вам такого, чего бы я не сказал в моих книгах, из которых некоторые посылаю вам.

К вашему же положению относится преимущественно то, что вы найдете в книгах “На Каждый День” в отделах: 28 авг. и июля и 27 июня. Думаю, что если человек положит главную цель своей жизни в нравственном совершенствовании (не в служении людям, а в нравственном совершенствовании, последствием которого всегда бывает служение людям), то никакие внешние условия не могут мешать ему в достижении поставленной цели. Таков мой ответ на ваш вопрос. Что же касается до улучшения вашего материального положения, то я советовал бы вам описать, если это вам не тяжело, — свою жизнь, как можно правдивее. Рассказ о том, что приходится переживать молодым, освободившимся от суеверий людям из народа, очень мог бы быть поучителен для многих. Я знаю редакторов, которые с радостью поместят в своих изданиях такого рода рассказ, само собой разумеется, если он будет хорошо написан, и хорошо заплатят за него.

Лев Толстой”.

Книги “На Каждый День”, о которых упоминается в письме, — сборник афоризмов и притч, составленный Толстым из произведений мыслителей разных времен и народов и собственных писаний. По замыслу Толстого, это настольная книга для всякого, кто ищет смысл жизни, “Круг чтения” — на каждый день года, и читать ее следует не как обычную книгу, а постепенно, день за днем постигая заключенную в ней мудрость. Открыв книгу в тех местах, на которые указал Толстой, молодой учитель из Оренбурга мог извлечь для себя программу жизни, которую заповедал ему писатель. Лейтмотив ее — христианская вера, покаяние и нравственное совершенствование как избавление от зла, царящего в мире и в человеке. Другими словами, Толстой предостерегал своего адресата от революции, указывая на эволюцию как на естественный путь развития человеческой истории.

Совет Толстого услышан не был — об этом говорит дальнейшая судьба Николая Почуева, какой она предстает из материалов его следственного дела. И тут он не одинок — сколько таких выходцев из народа в интеллигенты не вняли заветам Толстого, а пошли по более соблазнительному и легкому пути, указанному Лениным, вынеся зло за скобки собственной личности! Это был путь не внутренней, а внешней, иллюзорной свободы, при которой человек оставался рабом, что и доказала советская история.

Лев Толстой Почуева не убедил. Отбыв ссылку и вернувшись в родные места, в Чувашию, тот снова ринулся в революцию. Он вожак группы социал-демократов, известной нашим историкам своим письмом-обращением к Ленину. Поиск истины привел к другому учителю.

И после Октября он — в авангарде строителей социализма. Первым вступил в колхоз. Портрет его как видного революционера Чувашии был выставлен в республиканском музее.

До 1937 года... когда его настигла “награда” за преданное служение делу Ленина: тройка НКВД приговорила его к десяти годам лагерей. Оттуда он не вернулся... Революция пожирает своих детей. Зло порождает зло, враг порождает врага — круговорот взаимного уничтожения.

Вместе с Почуевым среди других бумаг было арестовано и письмо Толстого. Как видно, органы оно совершенно не заинтересовало, в следственном деле о нем нет ни слова. “Лишено всякого практического смысла”... Письмо классика бесследно исчезает в архиве — до наших дней, пока случай не извлек его из забвения.

Современники не услышали Толстого. Услышим ли мы его теперь?

БУРЕВЕСТНИК В КЛЕТКЕ

**Маска и лицо**

Максим Горький не был репрессирован, жил и умер в чести и почете у советской власти. Но материалы о нем в лубянском архиве я запросил, зная, что ни один крупный художник, а тем более такая всемирная знаменитость, как Горький, не остался вне внимания Лубянки. Политический контроль, слежка за умами, за творчеством были тотальными, всеобъемлющими. Запросил вроде бы наудачу — но будучи уверен: слишком частую сеть набросили органы на общество, чтобы в нее не попала такая крупная рыба. И не ошибся...

“Владимир Ильич!

С Заксом я не буду работать и разговаривать не хочу. Я слишком стар для того, чтоб позволить издеваться надо мной...

Да и вообще я вижу, что мне пора уходить в сторону...”

Максим Горький — Владимиру Ленину...

Прошло немало времени, пока, перерыв груду журналов и книг в библиотеках, наведя справки в архивах и музеях, я смог понять, что за бумаги передо мной.

И прежде всего обнаружил один поразительный факт: Горький — писатель без биографии. В многочисленных изданиях, посвященных ему, повторяется один и тот же набор хрестоматийных, тщательно процеженных данных, уложенных в некое подобие жития. Будто невидимая, но твердая рука провела черту — что нужно знать и чего нельзя. Отношения Горького с современниками искажены, некоторые люди вообще изъяты из его жизни. Четырехтомная “Летопись жизни и творчества” писателя полна зияющих провалов и неувязок. Сколько писем, на которые есть и ссылки, до сих пор не напечатаны, а те, что печатались, сильно урезаны, — что скрыто за этими купюрами? То же со статьями и даже фотографиями. То же и с архивными документами, многие из них — за семью печатями.

Словом, Горький — эта всемирная знаменитость — едва ли не самый неизвестный советский писатель.

“Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный... То кричит пророк победы: „Пусть сильнее грянет буря!..””

Это с детства — заставляли учить в школе.

Так оно и вошло в наше сознание, в нашу историю изначально, с пеленок: Буря — Революция и Горький — Буревестник, Вестник Революции... Роман “Мать”, первый шедевр соцреализма, высоко ценил Ленин. Ну, это мимо — скучно... Пьеса “На дне” — да, конечно. “Человек — это звучит гордо, человек — это великолепно. Че-ло-век!”

Горький двоился. С одной стороны — набор стереотипов, вдалбливаемых в голову, примелькавшихся, как портрет с усами, висящий в каждой школе и библиотеке, обычно рядом с Лениным или Толстым. Икона, критиковать нельзя. С другой стороны — не отмахнешься, несомненный талант. Но читать его хотелось все меньше, казался далеким прошлым. Предпочитали Горькому Бунина (почему-то всегда с ним сравнивали), что считалось признаком фронды, вольномыслия.

Короче говоря, я всегда считал Горького Писателем, хотя любимым он никогда не был. И даже как бы не мог быть.

Потом многие годы Горького будто не существовало. Правда, зимуя на полярной станции, на острове в Ледовитом океане, я решил перечитать всю классику (заносчивая идея!), взялся и за Горького — и увяз на втором или третьем томе. Не осилил.

Однажды пришли мы вместе с сыном Сережкой — ему тогда было лет восемь — в Дом-музей Горького в Москве, у Никитских ворот. Запомнилась фраза гардеробщицы — шепнула как будто по секрету:

— Здесь ему жилось максимально горько...

Почему? Роскошный особняк. Осмотрев все, Сережка, привыкший к советскому образу жизни — коммунальным квартирам, где в одной тесной комнате семья умудрялась разместить обеденный и письменный столы, родительскую постель, детскую кроватку и бабушкин диванчик, книжные полки, буфет и шкаф для одежды и скарба, а если жизнь семьи осеняют музы, то еще и пианино, и пишущую машинку, — Сережка был потрясен.

— Папа, а кто это все убирал?

— Кто? Слуги.

— Как слуги? — Он был потрясен еще больше. И тут же скомандовал: — Пошли отсюда!

Не вязалось такое в уме моего демократического сына с образом “певца горя народного”, страдальца и заступника угнетенных, звавшего Революцию для справедливости на земле. Не вязалось тогда и у меня реплика о горькой жизни Горького здесь, в этом особняке, с атмосферой внешнего комфорта и семейного благополучия.

Прошло несколько лет. У меня умер друг, одинокий художник Шумилин. После похорон я пошел к нему, в его квартирку-берлогу, чтобы забрать картины, — родных у Шумилина не было. Целый день разбирал, складывал, увязывал, курил, вспоминал. Вызвал такси. Уже перед уходом заглянул на антресоли. Там, в груде одежды, засохших красок и кистей, лежали какие-то два круглых тяжелых предмета, завернутых в бумагу.

Развернул — и отшатнулся: Ленин! Цементная голова, посмертная маска. Развернул другую — Максим Горький, этот полегче, гипсовый... Два лика смерти, отрешенных, загадочных, страшных. Что с ними делать, куда деть? Для Шумилина они могли быть моделью, а для меня?

Сунул в мешок — потом решу.

Пробовал как-то звонить в музеи Горького и Ленина — говорят, у них уже есть, не надо. Так и лежат они у меня в кладовке до сих пор. Но совсем о себе забыть не дают — вопрошают...

Что меня больше всего поразило тогда, у Шумилина, — это непримиримое противоборство, враждебность лица и маски, жизни и смерти. Мог ли я думать, что пройдет время — и снова возникнут передо мной эти две маски, уже на Лубянке? Сумею ли я теперь разглядеть за маской лицо?

Ленин и Горький. Два великих друга. Увы, дружба эта в тех документах, которые я нашел на Лубянке, предстает совсем в новом, неканоническом свете, без привычной сусальной позолоты. Но прежде чем заговорят эти документы, вспомним историю отношений Горького и Ленина.

Встретились они впервые в 1905 году, хотя знали друг друга гораздо раньше, встретились — и сразу прониклись обоюдной симпатией. Два волжских бунтаря, возжелавших переделать Россию. Поначалу в их отношениях Горький даже больше покровительствовал Ленину, так как был знаменит и обеспечен, а Ленин и его партия только еще утверждали себя, рвались к власти. Однако если романтик писатель отклонялся от жесткой линии реалиста вождя — что случалось нередко, — он тут же подвергался принципиальной критике: Ленин как бы поправлял, воспитывал его в марксистском духе. Отношений это не портило. Ведь все это пока больше область теории, мечты. Все эти наскоки и упреки в политических ошибках Горький в конце концов парировал улыбкой:

— Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди...

Ну что тут скажешь? Владимир Ильич только разводил руками.

Но вот она, революция, о которой столько мечтали большевики, — свершилась! Из мечты стала явью, от слов перешла к делу.

Горький ужаснулся. Кто правит бал? Слепые фанатики и авантюристы! Ведь за весь этот позор, бессмыслицу и кровь расплачиваться будет не Ленин, а сам народ! В газете “Новая жизнь” писатель по горячим следам событий публикует свои “Несвоевременные мысли”, где отвергает большевистскую революцию, видит в ней трагедию и гибель России.

Такого Горького мы не знали, в школе не проходили. И газета “Новая жизнь”, редактируемая Горьким, по приказу Ленина была летом 1918 года закрыта, а “Несвоевременные мысли” запрещены и не издавались у нас вплоть до последнего времени.

Но Ильич неизменно успокаивал:

— Нет, Горький от нас не уйдет. Все это временное, чужое. Вот увидите, он обязательно будет с нами...

И оказался прав — Горький то ли действительно перестроился и раскаялся, то ли просто сдался на милость победителя. Возможно и то, и другое.

“Собираюсь работать с большевиками на автономных началах, — пишет он Екатерине Павловне Пешковой, своей первой жене, — надоела мне бессильная академическая оппозиция „Новой жизни””...

Замечательно выражение “на автономных началах” — попытка еще как-то спасти свою самостоятельность, личность. Это при большевиках-то, при диктатуре!

Тогда же сын Горького Максим Пешков, работавший у Дзержинского, доверительно сообщает Ленину: “Папа начинает исправляться — “левеет”. Вчера даже вступил в сильный спор с нашими эсерами, которые через 10 мин. позорно бежали”.

Выстрел Фанни Каплан потряс писателя — ведь он всегда был на стороне пострадавших. Горький навестил Ленина в Кремле после ранения и снова почувствовал себя большевиком.

— Октября я не понял и не понимал до покушения на жизнь Владимира Ильича, — признавался он впоследствии. — Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, “заблудившегося”, с явным сожалением... Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго, заботливого друга.

Дружба была восстановлена. И подкреплена делом. Горький развернул бурную деятельность на культурном фронте: организовал издательство “Всемирная литература”, под крылом которого объединил лучшие писательские силы страны, создал Всероссийскую комиссию по улучшению быта ученых, руководил Экспертной комиссией, собравшей специальный фонд из национализированных ценностей и произведений искусства. Эти три учреждения действительно много значили в то время: благодаря им были спасены от истребления не только культурные ценности — многие ученые, писатели, художники, музыканты обязаны Горькому самой жизнью.

Гражданская война — на всех границах. Внутри страны — страшный голод, разруха. Горький, живя в Петрограде, напрягает силы в помощь гибнущей культуре. Пусть нет времени для собственных рукописей — сейчас важнее помочь интеллигенции выжить: достать крупу и воблу, выбить дрова, сохранить жилье, уберечь от арестов. Вести эту титаническую работу без поддержки Ленина было бы немыслимо. В то время они часто встречаются при приездах Горького в Москву: в Кремле и на даче у Ленина в Горках, на различных заседаниях, переписываются, обмениваются своими книгами.

Но в середине 1919 года наступает новое охлаждение. Горький, видя, что все его действия решительно ничего не меняют и что революция и культура становятся все менее совместимыми, впадает в отчаянье.

Ильич опять берется за исправление друга, пишет ему:

“Нервы у Вас явно не выдерживают... Вы договариваетесь до “вывода”... что революцию нельзя делать без интеллигенции. Это — сплошь больная психика... Занимаетесь Вы не политикой и не наблюдением работы политического строительства, а особой профессией, которая Вас окружает озлобленной буржуазной интеллигенцией... Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам, Вы пишете, не только тяжело, но и “весьма противно”!!! Еще бы!.. Жизнь опротивела, “углубляется расхождение” с коммунизмом... Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно”.

Вождь снова увещевает писателя, уже готового взбунтоваться, обращает в свою веру, лечит, как врач — больного, как отец — неразумное дитя. И все упорнее советует покинуть страну, буквально подталкивает к отъезду, хотя, казалось бы, когда, как не теперь, нужны родине истинные патриоты и деятели культуры. Советы эти только огорчали и раздражали Горького — он подозревал в них просто желание избавиться от назойливого защитника врагов новой власти.

Но Ленин не успокаивается, вновь и вновь атакует Горького, пытаясь примирить его с арестами среди интеллигенции:

“Дорогой Алексей Максимович!.. В общем мера ареста кадетской (и околокадетской) публики была необходима и правильна.

Когда я читаю Ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при наших разговорах (в Лондоне, на Капри и после) Вашу фразу: “Мы, художники, невменяемые люди”.

Вот именно! Невероятно сердитые слова говорите Вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или хотя бы даже сотен) кадетских и околокадетских господчиков посидят в тюрьме для предупреждения заговоров... Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!..

Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно...”

Отношение к интеллигенции выражено вполне определенно: не щадить!

Наступает 1920-й. Ленин все более успешно делает революцию, Горький все менее успешно спасает от нее культуру. О демократии, как в 1917-м, уже речи нет. Взамен обещанной свободы пришел красный террор. Слишком уж несовместимы оказались дела Ленина и Горького.

В их отношениях уже чувствуется надрыв. Горький изо всех сил старается играть свою роль, хотя то и дело проговаривается, выдает себя. На чествовании Ленина в связи с пятидесятилетием он ставит юбиляра выше Петра Великого, но произносит при этом зловещую фразу:

— И вдруг мы видим такую фигуру, глядя на которую, уверяю вас, хотя я и не трусливого десятка, но мне становится жутко. Делается страшно от вида этого великого человека, который на нашей планете вертит рычагом истории так, как этого ему хочется...

Горький уже прозревает в своем друге какие-то новые для себя черты, и этот новый Ильич его пугает. Тем не менее для народа они — вместе. Так надо. На демонстрации в честь открытия Второго конгресса Интернационала красный вождь идет с красным бантом и красной гвоздикой в петлице... И рядом с ним шагает красный писатель.

Это на публике, а за кулисами — иное. В те же дни Ильич строчит проект постановления о статьях Горького в журнале “Коммунистический Интернационал”:

“В этих статьях нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического. Впредь никоим образом подобных статей в “Коммунистическом Интернационале” не помещать”.

В сентябре опять наступает кризис.

Свидетельство этого — документ, с которым мне довелось ознакомиться в кабинете Лубянки.

Неизвестное письмо Горького вождю большевиков!

Это возмущенная реакция Горького на препятствия в работе издательства “Всемирная литература”. Затевая его вместе с издателем З. Гржебиным, Горький заключил договор с Народным комиссариатом просвещения на финансирование этого огромного и нужного для русской культуры дела. И встретил сопротивление Закса, заведующего Государственным издательством, референта Совета Народных Комиссаров по вопросам культуры.

Была тут своя подоплека. Закс доводился шурином одному из вождей партии, председателю Петроградского совета Зиновьеву, стоящему в то время на третьем месте в негласной иерархии большевиков после Ленина и Троцкого. А Зиновьев был давним врагом Горького: это он особенно настаивал на том, чтобы закрыть газету “Новая жизнь”, и даже осмелился однажды устроить обыск в горьковской квартире, угрожая арестовать близких ему людей, что кончилось большим скандалом у Ленина. Происки Зиновьева увидел Горький и теперь.

Писал это письмо Горький долго, мучительно, в три приема. Первый вариант датирован 15 сентября 1920 года. Это лаконичный ультиматум, тон его резок. Первые же слова клокочут гневом:

“С Заксом я не буду работать и разговаривать не хочу. Я слишком стар для того, чтобы позволить издеваться надо мной... Да и вообще я вижу, что мне пора уходить в сторону...”

Обида захлестывает Горького, он не может удержаться, чтобы не уколоть Закса его всесильным родством:

“Теперь в угоду зависти или капризам т. Закса, за которым я знаю пока одно достоинство: он шурин Зиновьева, — вся моя работа идет прахом”. Это уже во втором варианте письма, оставленном без даты, незавершенном, обрывающемся на отчаянной ноте: “...мое решение твердо. Довольно я терпел. Лучше издохнуть с голода, чем позволять все то, что до...”

Третий, видимо окончательный, вариант этого письма Горький пишет на следующий день, 16 сентября:

“Владимир Ильич!

Предъявленные мне поправки к договору 10-го января со мной и Гржебиным — уничтожают этот договор. Было бы лучше не вытягивать из меня жилы в течение трех недель, а просто сразу сказать: “договор уничтожается”.

В сущности, меня водили за нос даже не три недели, а несколько месяцев, в продолжение коих мною все-таки была сделана огромная работа: привлечено к делу широкой популяризации научных знаний около 300 человек лучших ученых России, заказаны, написаны и сданы в печать за границей десятки книг и т. д.

Теперь вся моя работа идет прахом. Пусть так.

Но я имею перед родиной и революцией некоторые заслуги и достаточно стар для того, чтоб позволить и дальше издеваться надо мною, относясь к моей работе так небрежно и глупо.

Ни работать, ни разговаривать с Заксом и подобными ему я не стану. И вообще я отказываюсь работать как в учреждениях, созданных моим трудом, — во “Всемирной Литературе”, издательстве Гржебина, в “Экспертной Комиссии”, в “Комиссии по улучшению быта ученых”, так и во всех других учреждениях, где работал до сего дня.

Иначе поступить я не могу. Я устал от бестолковщины.

Всего доброго!

А. Пешков”.

Было ли отправлено это письмо и попало ли оно к адресату? Видимо, да. Ибо уже 22 сентября упомянутый Закс получил хорошую взбучку. ЦК партии приказал ему немедленно выдать шесть миллионов рублей для издательства и предложил “ни в коем случае не осложнять и не затруднять работу товарища Горького в Петрограде и за границей”.

Дело на этом не кончилось. Вскоре Горький опять жаловался Ленину на Закса. История протянется еще на год, пока наконец Ленин не прикажет дать Заксу еще один “архинагоняй”: “Иначе выйдет архискандал с уходом Горького, и мы будем неправы...”

В архивной папке Лубянки таилось и другое письмо того же автора тому же адресату:

“Владимир Ильич!

Арестован коммунист Воробьев, старый партиец, человек с большим революционным прошлым. Его знают Бухарин, Трилиссер, Стасова и т. д.

Арестован он потому, что у него найдены сапоги Чернова1.

Но по словам людей зрячих эти сапоги суть — женские ботинки, принадлежащие некой Иде, несомненной женщине, что можно установить экспертизой.

Полагая, что этот скверный анекдот не может быть приятен Вам, Вы, может быть, прекратите дальнейшее развитие его...

А. Пешков”.

Как выяснилось, существует вариант письма (от 24 сентября 1920 года) — он был извлечен из Центрального партийного архива и опубликован только в 90-х годах. Я не сразу узнал текст — совпадало лишь самое начало, весь “скверный анекдот” отсутствовал. Выразительные многоточия охраняли имидж вождя, который еще совсем недавно был неприкасаемым (это теперь его памятники валят на площадях и обливают краской).

И это дело решилось в пользу Горького. Воробьев был спасен. Ленин показал письмо Дзержинскому, тот выяснил, что Воробьев хоть и укрывал эсеров, но “по доброте сердечной, а не из политических соображений”, и передал дело в партийный суд. Известно, что Воробьев умер в 1938 году — дата кровавая, мало кто из большевиков ленинского призыва ее перешагнул.

Перед нами машинописные копии горьковских писем. В левом верхнем углу на всех листах стоит знак: “А. М. — 6. —” Что это за загадочные “А. М.” — агентурные материалы? (Задавал я такой вопрос нынешним сотрудникам Лубянки — не объясняют: ведомственный секрет!) Под текстами напечатано: “Верно:” — и подпись от руки: “М. Славатинский”. На неоконченном варианте письма о Заксе приписано: “Согласно показаний Гржебина — отрывок этот написан собственноручно М. Горьким и адресован т. Ленину”. И снова — “М. Славатинский. 21.3.22 г.”.

Знакомая фамилия! Разбирая следственные дела писателей, например поэта Алексея Ганина, расстрелянного в 1925 году, я уже встречал эту фамилию. Начальник 7-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ. Убивал без жалости. Неужели и Горького он числил в своих подопечных? И брал показания у его знакомых? И когда — в 1922 году, при жизни и Ленина, и Дзержинского?! Такое не сразу укладывалось в сознании. Мог ли какой-то Славатинский вести досье на Горького без их ведома? А то, что оно велось несомненно, на обороте окончательного варианта письма о Заксе есть помета: “В дело. Формуляр М. Горького”.

Чтобы понять все это, надо проследить историю отношений Горького и Ленина до конца.

20 октября 1920 года произошла их знаменитая и, видимо, последняя встреча на квартире Екатерины Павловны Пешковой в Москве. Весь советский народ знает о ней по многочисленным описаниям, по фильму режиссера Юткевича. Вождь там — воплощенная человечность, самый человечный человек, влюбленный в искусство. Играл Исайя Добровейн. Звучала “Аппассионата”...

На самом деле благостная сцена слияния двух великих душ была, скорее всего, сценой прощания. Сквозил в ней еще один подтекст — Ильич упорно склонял Горького к эмиграции:

— Слушая ваши рассказы, даже боишься: не успеет написать. К тому же о здоровье вы нимало не заботитесь, а здоровье у вас — швах. Валяйте за границу, в Италию, в Давос...

И вдруг добавил:

— Не поедете — вышлем...

Фраза эта сильно врезалась Горькому в память, он вспоминал о ней и много лет спустя. Мог ли он предполагать тогда, что пройдет всего два года — и высылка станет уже государственной политикой, “мерой пресечения” инакомыслия, выбрасывать интеллигентов за границу будут уже десятками и отнюдь не по доброй воле? Чего стоит хотя бы “философский пароход”, когда из страны одним махом выдворили около полутора сотен лучших умов России — философов, писателей, экономистов, историков!

Зато когда действительно следовало отпустить, правительство не спешило.

Летом 1921 года опасность нависла над жизнью поэта Александра Блока. Горький бомбардировал Ленина и Луначарского телеграммами: “Спасите! У Блока цинга и нервное истощение. Отпустите в Финляндию лечиться. Здесь он погибнет!”

Пока в коридорах власти судили да рядили, дать ли визу Блоку и его жене, поэт умер. Не умер — доведен до гибели, то есть убит. А через семнадцать дней после его смерти расстреляли другого поэта, Николая Гумилева, расстреляли поспешно, по-бандитски, без всяких оснований примешав его к белогвардейскому заговору. И тут прошение Горького не помогло.

Август 1921-го — черная дата в истории нашей литературы. Погибли два лучших поэта России — с них начинается страшный мартиролог, бесконечный список писателей, погубленных советской властью.

Для Ленина смерть Блока и Гумилева — не событие. Издержки производства. В бумагах его той поры эти имена даже не упоминаются. Если для Горького человек — самоцель, то для его высокого друга — это только сырье, годное или не годное горючее для костра мировой революции.

Об этом ясно скажет сам Горький, через десять лет, более трезво взглянув на события прошлого:

— Сегодняшняя действительность была для Ленина только материалом для построения будущего...

Восьмого октября Горький пишет прощальное письмо Ленину перед отъездом в Европу. Последняя его забота — об оставленном деле, о трех учреждениях, которым отдано столько энергии и сил: “Всемирной литературе”, Комиссии по улучшению быта ученых и Экспертной комиссии (все они или захирели, или были закрыты после его отъезда).

Как вспоминает Луначарский, Ленин, выпроваживая Горького из России, рассуждал так:

— У него тонкие нервы — ведь он художник... Пусть же он лучше уедет, полечится, отдохнет, посмотрит на все это издали, а мы за это время нашу улицу подметем, а тогда уже скажем: “У нас теперь поблагопристойней, мы можем даже и нашего художника пригласить...”

“И вот Алексей Максимович, — добавляет Луначарский, — гонимый своей болезнью, необходимостью спасать свою жизнь, дорогую для всех, в ком живет настоящая любовь к людям, откололся от нас расстоянием. Но это не оторвало его от нас. Ниточка, по которой течет кровь, такой сосудик к сердцу Алексея Максимовича остался...”

Теперь мы видим, что одной из ниточек, которые связывали Горького со страной, была та, что свили в ЧК, и эта ниточка уже никогда не отпустит писателя, превратившись к концу его жизни в толстый канат. И держать другой конец каната будет уже другой вождь — Сталин.

Итак, в 1921 году Горький Ленину уже не столько помогал, сколько мешал в наведении революционного порядка. Следовало спровадить строптивого художника подальше, и благовидный повод был: забота о его же здоровье, — спровадить от греха подальше и, пока его нет, накинуть на взбесившуюся Россию узду и хомут, укротить. Ибо Ленин в решительные минуты никогда не исходил из дружеских, человеческих симпатий (“Человеческое, слишком человеческое”, — как говаривал Ницше), но всегда только из высшей революционной целесообразности и интересов своей партии.

Истинного Ленина мы не знали. Вместо правды нам подсовывали миф, вместо лица — лик. Лишь сейчас медленно стали приоткрываться бронированные двери спецхранов. И оказалось, что в партийном архиве были сокрыты 3724 никогда не публиковавшихся ленинских документа — несколько томов! Да еще три тысячи документов, подписанных им, — они тоже были замурованы, спрятаны от нас. Посмертно заточили своего вождя!

Не зря прятали! Со страниц этих документов на нас глянул другой Ленин — неугодный коммунистическому мифу, непохожий на икону. Вдохновитель красного террора, создатель ВЧК, которая была его детищем, и детищем любимым.

Один из его соратников — Гусев — вспоминал:

“Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить... Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства... Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем расходиться в политике, мы вынуждены не только рвать нашу дружбу, но идти дальше — идти на доносительство”.

Вот и разгадка, почему письма Горького попали на Лубянку. Разумеется, без санкции Ильича устанавливать слежку за его другом никто не решился бы.

Как-то одна маленькая девочка, все рисовавшая принцев и принцесс, спросила меня:

— А вы в Мавзолее были?

— Был.

— И Ленина видели?!

— Ну да.

— Страшно?

— Почему страшно?

— Ну как же! Ведь он все-о-о видит, все-о-о слышит...

**Горьковеды из ЧК**

Ходом событий писатель был поставлен на гребень истории — между интеллигенцией и властью, между Востоком и Западом, удержаться на этом гребне, на всех ветрах, почти невозможно. Постоянные метания Горького между желанием сохранить свою духовную независимость и страхом отстать от паровоза революции, между традициями европейского гуманизма, которому он поклонялся, и варварским, штурмовым сотворением нового, невиданного мира — эти противоречия, пронизавшие всю его жизнь, и составляют его трагедию.

Летом 1922 года в Москве проходил процесс над партией эсеров, когда-то вместе с большевиками делавших революцию, а теперь зачисленных в контрреволюционеры. Горький, обосновавшийся к тому времени в приморском местечке Герингсдорф, в Северной Германии, узнав о предстоящей расправе, решил: “Не могу молчать!” Он обратился с письмом к Анатолю Франсу, с целью всколыхнуть общественное мнение Европы (письмо было опубликовано в Берлине, в “Социалистическом вестнике”). Посылая его Франсу, Горький приложил к нему другое свое письмо — заместителю председателя Совнаркома А. И. Рыкову. Оба послания попали на Лубянку, их приобщили к делу.

“Достопочтенный Анатоль Франс!

Суд над социалистами-революционерами принял цинический характер публичного приготовления к убийству людей, искренне служивших делу освобождения русского народа. Убедительно прошу Вас: обратитесь еще раз к Советской власти с указанием на недопустимость преступления. Может быть, Ваше веское слово сохранит ценные жизни социалистов. Сообщаю Вам письмо, посланное мною одному из представителей Советской власти.

Сердечный привет!

М. Горький”.

“А. И. Рыкову. Москва.

Алексей Иванович!

Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством — это будет убийство с заранее обдуманным намерением, гнусное убийство.

Я прошу Вас сообщить Л. Д. Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо за время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране.

Ныне я убежден, что если эсеры будут убиты, — это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России.

Максим Горький”.

Обращение к Франсу действительно получило широкий резонанс. И переполошило Кремль. Ленин назвал письмо Горького “поганым”. Троцкий вынес резолюцию: “Поручить “Правде” *мягкую* статью о художнике Горьком, которого в политике никто всерьез не берет; статью опубликовать на иностранных языках”. И вскоре “Правда” обрушила на Горького отнюдь не мягкий памфлет некоего С. Зорина под заголовком “Почти на дне”, обыгрывающем название его знаменитой пьесы: “Своими политическими заграничными выступлениями Максим Горький вредит нашей революции. И вредит сильно...”

Совместное выступление Горького и Франса (к ним присоединились и другие известные деятели), вероятно, все же повлияло на участь эсеров: Президиум ВЦИК хоть и утвердил смертный приговор, вынесенный Верховным Революционным трибуналом, но приостановил исполнение его при условии полного прекращения партией эсеров своей деятельности.

Еще большее возмущение среди “кремлевских мечтателей” вызвал другой поступок Горького — публикация его книги “О русском крестьянстве”. Это уже был прямой вызов. В лубянском досье писателя появился материал, озаглавленный “Максим Горький за рубежом”. Никаких пометок на этом материале нет, нет ни авторства, ни даты, потому трудно установить его происхождение: то ли это обзор, сочиненный на самой Лубянке, то ли донесение кого-то из множества зарубежных агентов, то ли заметка, подготовленная для печати. Опус этот, однако, стоит того, чтобы его привести:

“После отъезда М. Горького за границу он был осажден целым рядом эмигрантских газет, пытавшихся узнать об отношении писателя к русской революции и русскому народу.

Летом 1922 г. Горький опубликовал в иностранных газетах несколько статей, произведших сенсацию среди общественных кругов Европы и вызвавших обсуждение на страницах наших газет.

В этих статьях, ныне выпущенных изд. И. П. Ладыжникова отдельной книжкой под названием “О русском крестьянстве”, Горький высказывает очень безотрадное суждение о русском народе, а в связи с этим и о совершенной русским народом социальной революции. Общий вывод из статей — это “трагичность русской революции в среде полудиких людей”, это трагичность большевизма, по идее движения городской и промышленной культуры, электрификации, точной и сложной организации и индустриализации, по осуществлению оказавшегося восстанием мужицкой стихии, жестокой, дикой, анархической и разрушительной. Отсюда заключение: “Планетарный опыт Ленина, человека аморального, относящегося с барским равнодушием к народным горестям, теоретика и мечтателя, не знакомого с подлинной жизнью, — безответственный опыт его и иже с ним не удался”.

Впрочем, все страдания, принесенные большевизмом русскому народу, Горький склонен считать благодетельными, как укрепившие и очистившие народный дух и волю.

Общественные круги Европы, антисоветски настроенные, разумеется, с должной выгодой для себя используют авторитетность горьковского имени среди масс.

В последнее время Горький, дотоле державшийся аполитично и выставлявший себя прежде всего защитником русской культуры, сближается с социалистическими антибольшевистскими группами (Абрамович, Мартов, Дан, Чернов, Слоним, Шрейдер). По инициативе этих групп изд. З. И. Гржебина предпринят исторический журнал “Летопись Революции”, который выставляет себя беспартийно-социалистическим и пытается в беспристрастной оценке дать перспективу революционных событий последнего полувека. Горький принимает в журнале ближайшее участие...

Трудно предполагать, что столь враждебно настроенные к нам меньшевистские и эсеровские круги, к которым примкнул за рубежом Горький, сумеют выдержать беспристрастно-исторический тон в своем журнале”.

Можно подумать, что Лубянка открыла филиал института по изучению Горького. Тщательно анализируется пресса о нем, перепечатываются публикации эмигрантских газет, делаются переводы с разных языков. Интересно полистать эти разношерстные листки, собранные в кучу неутомимыми “горьковедами” из ЧК. Повороты и зигзаги в поведении Горького, действительно непоследовательном, обсуждались тогда во всем мире и трактовались кому как выгодно — и все они отпечатались в лубянских хранилищах, слой за слоем.

Одна эмигрантская газета обвиняет Горького в поклепе на русский народ, другая сообщает о решении Советского правительства арестовать Горького, если он пересечет русскую границу. И все вместе они обрушились на него осенью 1922 года, когда Горький после, казалось бы, полного разрыва с советской властью вдруг заявил о своей лояльности к ней. Единственное, с чем пока он не соглашался, — это с политикой в отношении интеллигенции. Народ же русский, выразителем которого и был Горький в глазах всего мира, этот народ, стало быть, лучшей доли, чем та, которую он получил, не заслуживал. Народ, по мнению Горького, надлежало не защищать, а пасти, и большевики с этим справлялись прекрасно.

Вот Горький беседует с корреспондентом американской газеты “Forward” об антисемитизме и роли евреев в русской революции. Здесь, между прочим, есть пассаж, который, без всякого сомнения, не обошли вниманием на Лубянке. “Я верю, — заявил Горький, — что назначение евреев на опаснейшие и ответственные посты часто можно объяснить провокацией: так как в ЧК удалось пролезть многим черносотенцам, то эти реакционные должностные лица постарались, чтобы евреи были назначены на опаснейшие и неприятнейшие посты”.

Кстати, о внимании Горького к еврейскому вопросу у нас почти не писалось, а если говорилось, то только тенденциозно, “как надо”. В письме, опубликованном в сионистском журнале “Рассвет”, писатель углубляется в эту щекотливую, опасную тему и делает тонкое наблюдение о распространении антисемитизма в России при советской власти из городов в деревню, но дальше признается в бессилии понять коренную причину русского антисемитизма — “постыдную и мучительную”. Тут же Горький декларирует свое отношение к религии в связи с “бестактным или невольно спровоцированным участием евреев в продотрядах, в антирелигиозной агитации, в деле разоблачения „святых мощей””. Для меня, говорит Горький, мощи и церкви — не святыня, истинная святыня — человек.

Слежка за Горьким была в это время уже тотальной: наблюдали не только за ним самим, но и за всеми, кто входил с ним в контакт. Так, в Герингсдорфе Горького навестил французский писатель, редактор журнала “Les йcrits nouveaux” Андре Жермен. Восторженный француз поделился своими впечатлениями с художницей Марией Багратион, также знакомой горьковской семьи, жившей в Тифлисе. Письмо Жермена перлюстрировали, кое-как перевели в грузинской ЧК и отправили в Москву, оно тоже легло на стол товарищу Славатинскому. Так ничего не подозревавший, влюбленный в Горького почитатель был использован органами в роли информатора.

Это письмо — портрет Горького, написанный в несколько наивно-преувеличенных тонах, но в то же время содержащий искренние, ценные наблюдения. Во всяком случае, он куда более правдив, чем та икона большевистского глашатая, которая подавалась официальной советской пропагандой:

“Меня приняли, не спрашивая моего имени, с такой простотой и благородством, которые сближают автора “босяков” с королями пастухов Гомера. Без всякой церемонии я стоял перед человеком, одетым небрежно, подавляющим своим высоким ростом, с лицом мужика, с чертами могучими и жесткими, под которыми угадывалась жизнь многообразная и увлекательная, но уже на склоне...

Горький прошел по большевизму, не принимая участия ни за, ни против. Это то, что ему не прощают верхи, что разочарует поклонников социалистов, когда они его поймут. Спасать искусство и науку, помогать духовному развитию России — его глаза всегда были устремлены на эту работу... Главари большевизма, которых можно ненавидеть, но у которых нельзя оспаривать теперь их сурового величия, поняли это. Они позволили ему председательствовать в артистических и научных комиссиях, говорить о чистой красоте произведений искусства восхищенной аудитории рабочих и солдат... Они терпели его свободную деятельность с некоторым заигрыванием, как Менады переносили среди них лиру Орфея, как наши кровавые отцы 1793 года приглашали на свои пиры души усопших знаменитых людей, как тиран Дионисий, гордившийся обществом Платона. Он отказался им угождать с героической гордостью...

Я не хочу пропустить еще другую работу, которая его удерживала в России под угрозой голода и холода до последней границы его сил и о которой он не соглашался говорить, — это работа его доброты. Повсюду, где он только мог, он вырывал жертвы у террора. Его чистое сердце не разбирало политического цвета несчастья, и его дом удивительно расширился, как и его сердце, чтобы поддержать и приютить осужденных. Его чистые взгляды безжалостно разрушают идола, которого нынешние демагоги окружают нежными чувствами с тем же стремлением, которое заставляло их отцов целовать стопы царственного лица...”

Эти наблюдения Жермена, в особенности те, что касаются разрушения ленинского идола, конечно, только укрепляли уверенность властей в неблагонадежности знаменитого писателя. Как и то почтение его перед культурой Запада, о котором рассказывает Жермен:

“Он глубоко уважает Францию, Англию и Италию, согласно его мнению, та часть будет наиболее известна Европе, которая наиболее освещена. Вдруг с его губ слетает следующая странная мысль: “Влияние на мир должно принадлежать латинской и английской расе как более аристократической, чем все другие...” Одно ясно — это его громадное беспокойство за будущее европейской культуры: “Разве нет угроз европейской культуре, что вы думаете?” С его простотой, с его громадным доверием он несколько раз ставит мне этот вопрос...

Три слова, которые мне послужат позднее для восстановления стершегося от времени образа, они танцуют в моем утешенном уме, эти слова: веселость, детство и доброта”, — заканчивает письмо Андре Жермен.

Писем Горького, и в особенности к Горькому, Лубянка собрала множество, хватит, наверно, на целый том. Я привожу только неопубликованные материалы или те фрагменты, которые изымались перед публикацией, так что почти все, что читатель прочтет здесь, он прочтет впервые. Что-то стыдливо прятали, что-то убежденно вырезали с чувством исполненного долга, по партийной инструкции, внедренной в сознание, творя для нас и личность писателя по своему образу и подобию.

В этом отношении показательно письмо Горького Екатерине Павловне Пешковой из Мариенбада от 3 марта 1924 года. Оно печаталось в “Архиве Горького” с весьма характерными купюрами, делавшими текст не только убогим, но и совершенно непонятным. Приведем здесь несколько вычеркнутых публикаторами, никогда не печатавшихся строк:

“Мне кажется, что пора бы перестать говорить о том, что я подчиняюсь каким-то влияниям, и надо помнить, что мне 55 лет и я имею свой, весьма приличный опыт...

Должен сказать, что меня особенно раздражают намеки на чьи-то “влияния” и проч. в этом духе. Довольно бы уж. Если бы на меня действовали влияния, то я, разумеется, давно подчинился Владимиру Ильичу, который умел великолепно влиять, и теперь я грыз бы бриллианты, распутничал с балеринами и катался в самых лучших автомобилях...”

Заметим, что писалось это через полтора месяца после смерти Ленина.

Горький тогда опять оказался на распутье, ему надо было как-то определить свое место в неузнаваемо изменившемся мире — в новой эпохе и новой России, куда он шагнул из девятнадцатого века, из России Толстого и Чехова. Отстаивать ли традиционный гуманизм и бесстрашную правдивость нашей литературной классики или подчиниться теперешним хозяевам Родины — коммунистам, для которых литература, да и сам человек — лишь средство в борьбе идей? В этом мучительном поиске был тогда не он один — очень многие почувствовали себя оторванными от корней, потеряли духовные ориентиры, искали точку опоры. И ждали ответа от него, живого классика, мудреца и правдолюба.

Несколько лет назад к Горькому обращался начинающий писатель Сергей Алинов — просил отзыв на свой рассказ и, конечно же, задавал извечный русский вопрос: что делать? Теперь, в августе 1924-го, Алинов пишет Горькому опять — и какая метаморфоза! Дело не только в том, что вместе с письмом этот человек посылает Горькому уже не рукопись рассказа, а целых три изданных книги, среди которых и роман, — но как изменился тон! Алинов уже считает возможным снисходительно, жалеючи, поучать Горького как безнадежно отставшего от времени и выражает в письме то кредо, которое вскоре станет определяющим для официальной советской литературы, — это отход художника от независимости, конформизм и не просто капитуляция перед власть имущими, но и добровольное, осознанное, какое-то воинственно-горделивое рвение служить им.

Алинов пишет:

“Дорогой Алексей Максимович!

...Вы мне советовали “искать правду”, а на вопрос, где она, говорили: “Правда за границами политических взглядов и программ”, а где именно — неизвестно.

Спорно и непонятно здесь для меня то, Алексей Максимович, как можно молодому русскому писателю, живущему в России в 1921 году, советовать “искать правду”, правду, которая есть неизвестно что и которая неизвестно где, но только за границами политических взглядов и программ...

Ах, Алексей Максимович! Русские писатели долго искали правду. Они не нашли ее — и, вероятно, потому, что тоже, как и вы, не знали, какая это правда и где она именно...

В России происходят любопытные вещи, Алексей Максимович, люди думают как-то совсем по-новому, и если на Западе люди неподвижнее вещей, если на Западе круговорот вещей огромен, а люди до сих пор, по выражению Троцкого, прочно прикреплены к своим социальным гнездам, то у нас в России, Алексей Максимович, вещи неподвижнее людей...

Из всего человечества прикрепляясь к тому кругу людей, который сейчас живет около меня и которому я сейчас нужен (если хотите — иного пути в “человечество” нет), вместо исконной “вечности” я ориентируюсь на тот кусок ее времени, в котором сейчас живут, борются, страдают и радуются мои современники; вместо “справедливости” я прикрепляюсь к политической программе; вместо неизвестной “правды” — к известной полуправде...”

Выбор ясен: партийный подход — вместо общечеловеческого, известная полуправда — вместо неизвестной правды. Вот столбовая дорога, по которой должна идти теперь литература.

Такое письмо наверняка вызвало у лубянских горьковедов чувство глубокого удовлетворения, — пишущий его был явно свой, проходил тест на благонадежность. Славатинский начертал: “Это письмо писал коммунист Алинов — писателю Максиму Горькому”.

Совсем иную реакцию вызвало другое письмо — работника “Международной книги” Михаила Николаева, адресованное даже не самому Горькому, а его сыну Максиму, — письмо сугубо бытовое, шутливое, но и оно было внимательно прочитано, подшито к делу. Острый нюх Славатинского что-то тут учуял, и он наложил такую резолюцию: “1 экз. — к делу Горького. 2 ам — к делу Крючкова”. (Опять эти загадочные “ам”! Крючков — секретарь Горького, значит, и на него заведено дело!) “На Николаева у нас должен быть материал, обратите на него серьезное внимание”.

Так засвечивались корреспонденты Горького и его близких, брались на заметку, а может быть, и на прицел.

Особый интерес вызывает в ОГПУ то, над чем работает писатель, его взгляды, отношения с врагами советской власти — такие фразы подчеркиваются, выделяются. В письме Горького литератору Богдановичу от 4 августа 1925 года подчеркнута фраза: “Бывший благородный русский человек расскажет Вам, как он зарабатывал в Париже деньги тем, что публично совокуплялся с бараном. Ох, если бы Вы знали, какая гниль и пакость русские эмигранты... И до чего они злы. Ну и черт с ними, скоро вымрут...”

Досье Горького — уже особое хозяйство, в котором усердно хлопочет большая группа сотрудников. Письма испещрены служебными приписками: “7 Секретный отдел”, “т. Агранову”, “т. Славатинскому. В дело”, “т. Гендину. К делу Горького”, “С подлинным верно. В. Шешкен” — и целые гирлянды подписей.

**На аркане**

Второй пласт времени, запечатленный в досье Горького, — 1926 — 1928 годы.

Нет уже в живых Ленина — власть цепко перехватил Сталин. Умер прямодушный Дзержинский — его сменил вкрадчивый Ягода (официальный преемник Дзержинского — Менжинский — часто болел и больше числился, чем работал). ВЧК сменила вывеску на ОГПУ. Летучий истребительный отряд революции постепенно превращался в громадную полицейскую машину, протянувшую свои рычаги и провода не только на всю страну, но и во все стороны света.

С досье Горького теперь в основном работают двое: некто, подписывающийся буквами “К. С.”, и Николай Христофорович Шиваров, печально известный “Христофорыч с Лубянки”, спец по литературе, — именно он будет в 30-е годы выбивать показания из Николая Клюева и Осипа Мандельштама, заведет досье на Андрея Платонова и многих, многих других. Можно сказать, сделает карьеру на писателях. Но пока, на Горьком, он, видимо, еще только учится...

А что происходит с самим писателем? Он живет на прекрасной вилле в Сорренто с видом на Везувий, купаясь в лучах благодатного средиземноморского солнца, по-прежнему — в ореоле мировой славы, в окружении многочисленных домочадцев, помощников, гостей и работает, как завод: пишет свою эпопею “Жизнь Клима Самгина”, статьи, воспоминания, ведет обширнейшую переписку. Вроде бы все как нельзя лучше. Здоровье, правда, швах, как выражался Владимир Ильич, но это давно и, видимо, навсегда. Что же до ностальгии — эта болезнь, по его признанию, была ему незнакома.

Теплое, родное гнездо! Все тревоги и баталии мира разбиваются о порог дома. Здесь любят его и заботятся о нем, зовут друг друга милыми прозвищами: сам он в этом интимном кругу — просто Дука, его улыбчивая невестка Надя — Тимоша, его новая жена и помощница Мария Будберг — Титка, секретарь Петр Петрович Крючков — Пе-пе-крю... Рядом — сын Максим и маленькие внучки Марфа и Дарья. Есть и другие близкие, почти члены семьи: Соловей — столь же талантливый, сколь ленивый художник Иван Ракицкий, который однажды, еще в Петрограде, залетел в дом, да так и прибился, остался совсем, и хлопотливая Липа — медсестра Олимпиада Дмитриевна Черткова, тоже добровольная помощница... Наезжает и подолгу живет уже давно не жена, но по-прежнему верный друг Екатерина Павловна Пешкова, навещает Зиновий Пешков — офицер французской службы, брат Якова Свердлова, усыновленный когда-то Горьким...

Словом, дом — полная чаша!

Скоро Горькому стукнет шестьдесят — время подводить итоги. И пора наконец решить — с кем он в большом мире? Где успокоит свою старость?

Был ли он эмигрантом? Как посмотреть. С одной стороны, конечно — эмигрант поневоле. Что ему делать с советской властью, если она не признает бытия людей, не зараженных политикой с колыбели? Когда однажды он узнал, что вдова Ленина, Крупская, составила список книг для изъятия из библиотек и там — Библия, Коран, Данте и Шопенгауэр, он решил, что ему надо вообще выйти из советского подданства. Даже принимался строчить заявление, но потом отложил. Ибо, с другой стороны, не сам ли он говорил, что евангельский гуманизм — плохая вещь?

И ругали его с двух сторон. Из родных краев язвила советская пресса: высоко-де летал Буревестник, да вот сел плохо — прямо в болото. Футурист Маяковский объявил, что Горький — труп и больше литературе не нужен. Но и с противоположного края, из Парижа, кого, как не его, оплевывают белогвардейцы? Называют его очерк о Ленине величайшим преступлением в истории русской печати...

А он — один, между двух огней, под перекрестным обстрелом.

Умонастроение Горького в это время хорошо видно из его неизвестного, хранившегося в лубянском архиве письма, адресованного молодому другу из Советского Союза, писателю Всеволоду Иванову:

“...Очень удивлен Вашими словами: “Мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий Богов слуга, а мечтательный бандит”. Не ожидал, что Вы можете так думать и что для Вас приемлема литературная идеализация народниками крестьянства. Я этим никогда и не болел, хотя меня народники усердно воспитывали именно в этом направлении. Более того, я вообще органически не понимаю, как можно идеализировать нацию, массу, класс. Я плохой марксист и слагать ответственность за жизнь с личности на массу, коллектив, партию, группу — не склонен.

Кроме того, я знаю, что зерно перца энергичнее пригоршни мака. И мне кажется, что было бы и не искренно, и смешно, если бы я думал иначе. Не стану, разумеется, отрицать, что мужик — бандит, хищник, анархист, но думаю, что быть ему таковым уже недолго. Бандит и анархист он потому, что издревле не верит в прочность социального бытия своего, от неверия и “мечтательность”. Лично я и не желаю ему такой веры, ибо — не те времена, чтобы веровать. Мир человеческий дожил до эпохи, коя дерзновеннейше колеблет и расшатывает все и всякие веры и уверенности, хотя так называемое “неорганическое вещество” зловеще свидетельствует о своей неустойчивости.

Драматизм чувства, скрытого в словах Ваших, мне как будто понятен. Когда я представляю себе всю темную и хаотическую огромность русско-китайской, индусской и всякой другой деревни, а впереди ее вижу очень небольшого, хотя и нашедшего Архимедову точку опоры безумнейшего русского революционера, то, разумеется, такое соотношение сил возбуждает у меня некоторую тревогу за судьбу революционера, за Вашу в том числе.

Глубоко верно сказано Вами: “То, что нам нужно пережить и понять, — превышает знания, понятия и даже чувства наших отцов”. Очень верно. И намного превышает...

Живете Вы, очевидно, нелегко. Очень советую, приезжайте в Италию. “Шляться” здесь приятно и смешно. Отдохнете, подумаете, посмотрите на себя. Вам пора писать большую вещь.

О Бабеле ничего не знаю. Буду огорчен, если опять Бабель не побывает у меня, я его очень ценю и ставлю высоко.

Только вчера встал на ноги и могу писать, а несколько дней тому назад впервые почувствовал, как близка человеку неприятная штучка, именуемая “смертью”. Налит камфарой, которую вспрыскивали мне раз пять, камфарой и еще какой-то жидкостью. Чувствую себя отвратительно...

Крепко жму руку!

А. Пешков”.

Письмо очень важное для понимания эволюции Горького. Выводы, которые он делает здесь, безотрадны: времена — “не те, чтобы веровать”, русский мужик — “бандит, хищник, анархист”. И что самое поразительное: душа писателя болит не за мужика, а за “безумнейшего революционера”! Где же его пресловутая любовь к народу?!

Перед нами не совсем тот, даже совсем не тот Горький, которого мы знали, и понятно, почему это письмо до сих пор держали под замком.

В другом, тоже неопубликованном, письме Всеволоду Иванову — в начале 1928 года — Горький уже сообщает о своем твердом решении приехать в Россию. Но начинается письмо с гнева на Россию изгнанную, эмигрантскую, которую он и не понимал, и не принимал:

“Дорогой друг...

Подлинная причина, почему однофамилец Ваш2 отказался печатать стихи в “К<расной> Н<ови>”, конечно — опасение скомпрометировать себя в среде “благомыслящих людей”. Если б он оскоромился сотрудничеством в журнале Вашем, — эмигранты отгрызли бы ему пальцы, уши и нос. И даже еще что-нибудь.

Они тут совсем выживают из ума: Сергей Булгаков написал книгу о “Бестрепетном зачатии”. Евлогий вместе со Струве выдумывают новую религию, присовокупляя к Троице — Софию-премудрость, и т. д. Но боготворчество не мешает им зверски ненавидеть друг друга.

Да, в мае приеду и, кажется, не увижу Вас: почему черти несут Вас в Ташкент? И почему Вы прислали 2-й том, не прислав первого? Я очень люблю читать Вас, пришлите.

С этим юбилеем я начинаю чувствовать себя знаменитым, как Мери Пикфорд, и уже боюсь, что мне предложат вступить в законный брак с Серафимовичем. Вот что: под Харьковом существует уже 6-й год колония “социально опасных” детей, я состою шефом ее. Организация, положение, жизнь ее — удивительно интересны. С детьми я переписываюсь, и на каждое мое письмо они отвечают 22 письмами, по числу начальников различных рабочих отрядов. Любопытно — страсть как.

Нет ли у Вас — в “Кр<асной> Н<ови>” — человека, который бы съездил туда и описал колонию? Стоит.

Но имени моего упоминать не надо.

Жму руку.

Ваш А. Пешков”.

И здесь Горький предстает без хрестоматийного глянца, далеким от гуманизма и истинного понимания происходящего. Уж он-то должен был знать, что для тысяч и тысяч русских, лишенных Родины, эмиграция — великое несчастье, что многие из них, став пасынками Европы, влачат жалкую, нищенскую жизнь, мог бы если не посочувствовать им, то хотя бы не охаивать, не представлять каким-то озверевшим стадом. Он — писатель! — не мог не знать, что изгнанные из России о. Сергий Булгаков и Петр Струве — не злодеи, а серьезные мыслители и ученые, и коль сам жил без веры в Бога, то хотя бы не называл эту веру выживанием из ума!

В первом письме Иванову он отрекается от русского мужика, здесь — от русской интеллигенции, той самой, которую когда-то защищал от современных варваров — большевиков и к которой себя относил. В кого же и во что он теперь верит? В “безумнейшего революционера”?

Зато все заметней тяга к другому. Советские методы воспитания — вот что ему теперь любопытно. Он тешит свое тщеславие вниманием к нему социально опасных детей из колонии, как будто не понимает, что все это шефство — организованный спектакль, одна из тех ниточек, за которые его дергают, притягивают и связывают. Или у малолетних преступников нет других забот, кроме как переписываться с Сорренто? Или не приходит Горькому в голову вопрос, почему через десять лет советской власти в стране развелось так много бездомных и жуликов?

Вот это и поражает больше всего — постепенная сдача позиций, готовность к обману и самообману, подмена подлинного, действенного сострадания к людям формальным шефством и фальшивой опекой — опасные симптомы той духовной болезни, которая, прогрессируя, приведет в конце концов Горького к полному перерождению, превратит из защитника и вдохновителя угнетенных в защитника и вдохновителя угнетателей.

Лубянский архив Горького очень пестр и разнороден, вполне возможно, что туда попала не только перлюстрированная корреспонденция, но и что-то добытое агентурным путем или из архива писателя, изъятого у него дома сразу после смерти. По свидетельствам очевидцев, часть архива — целый чемодан — увезла из Сорренто в Лондон его жена и секретарь Мария Будберг (есть основания полагать, что чемодан тот в итоге тоже перекочевал на Лубянку). Теперь, через столько лет, выяснить все это с полной достоверностью очень трудно. Горьковские материалы прошли через многие руки и частично рассеялись. Сотрудники Лубянки говорили мне не без досады, что их постоянно “грабил” партийный архив (Горький почему-то проходил по партийному ведомству), что-то передавалось в разное время и в другие государственные хранилища.

Но и то, что осталось на Лубянке, бесценно. Среди адресатов и корреспондентов Горького люди разных слоев, положений и национальностей, от знаменитых до совсем неизвестных.

Переписка с писателями свидетельствует прежде всего о той громадной работе, которую вел Горький с литературной молодежью, натаскивая ее в писательском ремесле, — в этом он просто феноменален и сделал так много, как никто: он стал “повивальной бабкой” для целой когорты советских писателей, среди которых такие первоклассные мастера, как Бабель, Олеша, Паустовский.

Но самое неизвестное, пожалуй, не переписка с писателями, а голоса самого народа, до сих пор не услышанные, обращения к Горькому простых людей, которыми руководили не профессиональные интересы, а искреннее желание высказаться, излить душу и — открыть глаза Горькому на то, что происходит на Родине. Кажется, не было такого слоя населения в России, от которого бы не долетал голос до далекого Сорренто. В этих письмах — весь срез жизни, драгоценные свидетельства о том времени, в них говорит сама история.

Взывая к Горькому, люди ждали его авторитетного действия в защиту поруганной справедливости. Один из корреспондентов пишет:

“Что большевикам присуща жестокость и кровожадность, свидетельствуют те многочисленные казни, которые теперь совершаются у нас даже за маловажные политические и иные преступления, как растраты; об этом же свидетельствуют многочисленные убийства многих наших лучших людей, всею душой преданных интересам народа, о том же свидетельствует зверская расправа с детьми царя...

Неужели Вас не возмущает эта жестокость правящей партии и Вы не должны, пользуясь своим авторитетом и влиянием, показать ей всю гнусность и мерзость такого легкого отношения к человеческой жизни, всего лицемерия ее возмущения и протестов, когда другие правительства применяют неизмеримо более слабые наказания и репрессии к членам коммунистической партии, когда те прибегают к насильственным средствам захвата власти. Против таких гнусностей царского правительства возвышали голос когда-то наши лучшие люди — Л. Толстой, В. Соловьев, В. Короленко, выступали против них и представители науки, обсуждая с разных точек зрения этот вопрос. А теперь? Все молчим, как в рот воды набравши. Ниоткуда нет протеста и осуждения, как будто так и должно быть. А вот расточать лесть Советской власти — на это у нас сколько угодно охотников; не гнушаются этим и люди науки. Все это очень печально, так как показывает страшный моральный упадок всей нашей интеллигенции, происходит оно, это замалчивание, в силу одобрения таких действий или за отсутствием мужества осудить их.

Скорее всего, причина — в недостатке мужества, в чем убеждаешься на каждом шагу. Когда власть как теперь, все боятся свободно и искренне выразить свое мнение по тому или другому политическому вопросу или действию правительства, боятся говорить, боятся писать в частных письмах и только шепчутся, оглядываясь по сторонам...

Если Вы этого не знаете, то, значит, не знаете современной России, а если знаете и не возвышаете своего голоса, то берете на себя тяжелый грех. Вы, Алексей Максимович, конечно, высоко ценили и уважали Л. Толстого, Чехова, Короленко. Как, Вы думаете, они отнеслись бы к Советской власти, ее правящей партии? Несомненно, с величайшим осуждением, не молчали бы.

А. К.”.

Это письмо анонимно и без адреса, как и многие другие, что вполне понятно: люди, живущие не в прекрасном далеке, а в реальности тоталитарного государства, знали, что слово правды под запретом, и, естественно, боялись. Удивительно, что Горький этого не понимал. Или делал вид, что не понимает, намеренно закрывал глаза и зажимал уши? Не хотел разрушать свою сказку о социализме, прогрессе, о прекрасном настоящем и еще более прекрасном будущем? Эта сказка была для него, как видно, дороже правды жизни.

Мало того, он выступил в советской печати с гневной отповедью своим критически настроенным корреспондентам (статьи “Анонимам и псевдонимам”, “„Механическим гражданам” СССР” и “Еще о механических гражданах”). Он, который всегда провозглашал любовь к человеку единственной своей верой, тут оказался глух и слеп к пронзительному зову реального человека — страдающего, униженного и оскорбленного. Или не понимал, что люди, открывшие ему сердце, ставят себя под удар, рискуют, не знал, что все письма, идущие за границу, вдобавок к такому лицу, проходят тщательную цензуру, а за авторами сразу устанавливается наблюдение? И тут анонимность и псевдонимность не всегда помогают, ибо у тайной полиции есть свои возможности и средства их расшифровать.

Видно, не понимал. Иначе бы не писал своему секретарю Крючкову: “„Руль” (белоэмигрантская газета. — *В. Ш.*) подозревает, что письма „механических граждан” я сообщаю ГПУ. Не стесняются, негодяи...”

Удивительная наивность — как повязка на глаза: то наденет, то снимет. И врагами своими числит “механических граждан” и русских эмигрантов, то есть всех, кто не согласен с политикой советской власти. Такая наивность очень на руку ГПУ!

Разбирая эти письма, не раз вскакиваешь, начинаешь бегать по комнате: что же это такое? И отдавать “нашего” Горького жалко, и за людей горько: открывают душу ему, а туда сразу влезают липкие щупальца органов. Где же он, мудрый учитель, правдоискатель и заступник, художник-романтик?

Буревестник превращен в подсадную утку, используется как ловушка для инакомыслящих. Доказательств тому — множество.

На письме Горькому Андриана Кузьмина из Москвы, например, Шиваров написал: “Оригинал сфотографирован — остался у тов. Медведева. Им же дано задание о наблюдении над Кузьминым”.

Прочитаем письмо — станет ясно, почему Андриан Кузьмин стал объектом внимания для ГПУ.

“Москва. 25 декабря 1927 г.

Гражданин Максим Горький!

Несколько слов по поводу Вашего выступления в связи с десятилетием Октябрьской революции и по поводу Вашей статьи от 23 декабря с ответом “псевдонимам и анонимам”.

Предупреждаю: пишущему эти строки 52 года, никогда (ни раньше, ни теперь) ни к каким привилегированным или партиям не принадлежал. Следовательно, никакой особо враждебной тенденции ни к прошлому, ни к настоящему нет. Есть трудовой взгляд на жизнь — как она есть... Ваша статья (и та, и другая) возбудила большие толки и пересуды, формулировать грубо которые можно так: Горький сидит на двух стульях. С одной стороны, как бы благословляет все происшедшее с 1917 года, а с другой — как бы нет. А вот как мне кажется: конечно, хорошо хвалить все, что сам не переживал. Я как-то читал какое-то поэтическое описание кавалерийской атаки в одном сражении и подумал: красиво, увлекательно, но хорошо, что автор сам в ней не участвовал...

Вы живете вдали, своевременно уклонившись от счастья быть слепым и безгласным объектом эксперимента, проводимого вопреки Вашему желанию и против желания почти всего населения Вашей страны...

И вообще, рассуждая трезво, без злобы и ослепления, можно ли сочувствовать тому, что делается против желания почти всех окружающих тебя людей? Здесь можно возмущаться всякой жестокостью как таковой, но нельзя же замалчивать и то, что этот эксперимент стоил стране людоедства. Что касается Вашей ссылки на историческую аналогичность с временем Петра Великого, то здесь, по-моему, передержка: не с временем Петра I и его реформами следует сравнивать аналогичный момент, нами переживаемый, а с временем, если уж хотите, Павла I.

Когда этот сумасбродный и озлобленный человек дорвался до власти, то он шпицрутенами и фухтенами насильно пытался обратить русского человека в пруссака... пока его не убрали. В Питере, в Эрмитаже, есть картина проф. Шарлемана “Парад в Санкт-Петербурге”... Мужички, переодетые пруссаками, — в одном мундире, в буклях и косах, застывшие на морозе, и все терпели целые шесть лет.

У нас теперь время тоже подходит к тому, где всем начинает надоедать “игра с социализмом”, проводимая наследниками Павла. Да и среди наследников наступает отрезвление, диктуемое самосохранением, поэтому всех удивляет Ваше выступление: десять лет молчали — и вдруг начинаете петь... тому, к чему даже сами создатели начинают относиться по-иному и где результатом всего вырисовывается тупик.

Не вовремя выступили, впрочем, литераторы всегда были плохие политики”.

Непосредственным поводом для многих писем послужило объявление в советской печати о приезде Горького на родину.

“Что представляет из себя в настоящее время СССР, наша новая Россия, Вы увидите сами, — так начинается одно из писем. — Не ездите как знатный гость для этого на Волховстрой, на возобновленные фабрики и заводы, как делают это иностранные делегации, знакомящиеся только с внешней, со спокойной стороной нашей культуры, наблюдающие только то, что им можно показать... Сделайте противоположное: забудьте, что Вы писатель с именем, никуда не ездите с официальными провожатыми, как бы под арестом, а... поезжайте всюду, куда потянет душа, всенародным наблюдателем, как Вы делали это в Ваши молодые годы. При Вашем знании вообще народа, всех его слоев и переплетов, Вы, без сомнения, скоро увидите в нем новые расслоения, а среди них — новые веяния, новые движения мысли. Это новое... просачивается всюду и везде, под неустанным административным воздействием власти и в силу неслыханной и невиданной в капиталистических государствах материальной зависимости масс от центра.

В голове этого общественного движения — небольшая кучка людей, сподвижников Ленина... Эта группа людей, собственно, и составляет партию. Ее тезисы, ее положения, ее идеи лежат в основе нашего законодательства, революционным порядком втиснуты во все обороты народного обихода, принудительным впрыскиванием влиты в плоть и кровь русского народа. И часто против его воли...”

К приезду Горького в стране готовились юбилейные торжества в его честь — писателю исполнялось 60 лет. Газеты запестрели заметками о предстоящем юбилее, директивами об организации чествований. Один из корреспондентов вложил в конверт со своим письмом вырезку из “Вечерней Москвы”, чтобы до юбиляра дошли циркуляры власти как доказательства принудительной любви к пролетарскому писателю:

“ЮБИЛЕЙ М. ГОРЬКОГО В ВУЗАХ

Главпрофобр (Главное управление профессионального образования. — *В. Ш.*) разослал вчера правлениям всех вузов и других подведомственных ему учебных заведений особое письмо о проведении чествования М. Горького. Между 26 марта и 1 апреля во всех учебных заведениях должны быть устроены торжественные заседания с докладами о жизни и творчестве Горького, сопровождаемые литературными и музыкальными выступлениями. Ко дню 60-летия М. Горького (29 марта) должны быть организованы выставки, посвященные его творчеству”.

Письмо с этой вырезкой тоже анонимно, но из текста видно, что писал его ученый. Писал резко, нелицеприятно, не только выражая свое отношение к писателю, но и, что особенно важно, рисуя бедственную участь советской интеллигенции:

“Милостивый государь Алексей Максимович!..

Принадлежа к числу русских научных деятелей, уже 25 лет работающих в высшей школе, я счел себя вынужденным, несмотря на предписания, уклониться от всякого участия в официальных торжествах, организованных в циркулярном порядке в ознаменование Вашего юбилея. Высоко ценя Ваш блестящий литературный талант, я считаю равно оскорбительным подобные торжества как для Вас, самого крупного из современных русских художников, так и для нас, деятелей науки и представителей русской интеллигенции, которая всегда придавала серьезное значение аналогичным чествованиям лишь в том случае, когда эти манифестации являются актом свободного изъявления общественных симпатий и настроений.

Но я решил писать к Вам на этот раз не столько с тем, чтобы дать Вам некоторое понятие, как у нас организуются теперь в Советской России всякого рода показные демонстрации, а с тем, чтобы высказать Вам, с тяжелым чувством, ряд недоумений, которые волнуют и вызывают невольное возмущение среди многих и многих русских людей, давно привыкших гордиться Вами как одним из славных русских писателей, имя которого связано с лучшими русскими художниками слова. Я разумею Ваши систематические выступления в советской прессе, где Вы, простите, так до странности легкомысленно выступаете против последних, не добитых еще советским режимом представителей русской интеллигенции и покрываете своим большим именем вопиющую ложь современной русской жизни. Из своего прекрасного далека, пользуясь совершенной свободой и независимостью, хотя и под защитой фашистского правительства, под благословенным небом Италии, в прекрасной вилле с неограниченной жилой площадью, Вы, вслед за официальной лживой прессой Советской России, повторяете на глазах всего культурного мира (хотя и зараженного также в своих господствующих верхах буржуазной ложью) заведомую, для тех, кто пережил эти десять лет в самой России, неправду, которая не может быть оправдана никакими, даже и самыми возвышенными, целями и идеалами.

Мы, люди науки, умственного труда, живого и печатного слова, лишены всех прав свободного научного и интеллектуального творчества и, обреченные под страхом скорпионов ГПУ (о которых и не снилось жандармерии царского режима) молчать, — мы слышим Ваши дифирамбы Советской власти за ее заботы об ученых и науке...

Я не говорю уже о том, что ни для кого не тайна, что сейчас в России нет ни высшей, ни средней школы, ни свободных научных учреждений. Не говорю о гибели молодого поколения, не только лишенного правильного общего образования, но и воспитанного в варварском отношении к величайшим сокровищам мировой и особенно русской культуры.

Конечно, мои слова не убедят Вас, что-то затемняет Ваши глаза, но я хотел бы не убедить Вас (для этого Вам следовало прожить с нами десять лет), а разбудить в Вас просто голос человеческой совести, чувство самой простой справедливости и нравственной осторожности. Вы собираетесь приехать в Россию. О, конечно, Ваше прибытие в Россию будет сплошным триумфальным шествием на советских автомобилях, но не так хотелось бы, чтобы Вы прошлись по современной России, не в звании разрекламированного советского писателя, а прежнего Максима Горького, друга Антона Павловича Чехова, того Горького, который, как прежде, незаметным босяком еще раз прошел бы по матушке России и взглянул бы на подлинную страну не через “Известия” и “Правду”, ложь съездовских речей и партийной демагогии, а открытым взглядом...

Простите за это не юбилейное слово. Знаю, Вы с презрительной улыбкой бросите это письмо в корзину как еще одно анонимное, жалкое и бессильное словоизвержение врага пролетариата и т. д. Да, Вы, свободный писатель, можете в Ваших письмах в советских газетах, пользуясь монополией, говорить все, что угодно, в защиту Советской власти, имеете все возможности травить нас вполне безнаказанно. От нас Вы ничего не можете услышать в ответ: мы связаны по рукам и во рту у нас советский кляп. Но, зная это, полагаете ли Вы, что Вы поступаете как рыцарь свободного слова?

Алексей Максимович. Подумайте об этом наедине с Вашей совестью, когда-то такой чуткой ко всякой жизненной лжи и подлости. Пусть мы в Ваших глазах люди отсталые, не понимающие величия мировых задач и благородных лозунгов социальной революции, пусть так (хотя это вовсе не так), но все же не кажется ли Вам, что с противниками следует поступать честно. Связанных не бьют. Я не хочу верить, что Вы сознательно пишете неправду или что Вы продались Советской власти, как говорят кругом. Если бы я так думал, я, конечно, не писал бы Вам. Но я недоумеваю, как же Вы берете на себя так опрометчиво судить о том, чего Вы не знаете, не видите, не переживаете.

Вы даже, по-видимому, не отдаете себе отчета в том, почему Ваши многочисленные корреспонденты, о которых Вы говорили в одной из Ваших статей в “Известиях”, не могут подписать своего имени под письмами, с которыми они обращаются к Вам с Вашей родины. Не знаю, пройдет ли благополучно через советский охранный аппарат и дойдет ли до Вас этот анонимный вопль души...

Вы жестоко ошиблись бы, если бы подумали, что Ваш корреспондент — сторонник старого режима. Он слишком много в своей жизни потрудился над разрушением последнего, чтобы мечтать о его реставрации. Но еще более ошиблись бы Вы, если бы приняли его за тайного агента постыдной русской эмиграции или члена какой-нибудь внутренней подпольной контрсоветской организации. Он бесконечно далек и от того и от другого. Он просто принадлежит к последним остаткам тех культурных запасов, за счет которых до сих пор жила и еще продолжает жить Советская Россия. Вопреки убийственным условиям господствующего режима он пытается по мере сил продолжать культурную традицию научной и просветительной работы, стремясь внести нечто положительное в жизнь разоренной страны, ибо только такая работа — сознательная и нужная теперь в нашей родине. Что же касается врагов Советской власти, то внутри страны у нее есть только один действительно опасный враг — это она сама.

29 марта 1928 г.”.

Писем множество, и чуть ли не в каждом — SOS! Спасите наши души!

Вот голос деревенского правдоискателя, не шибко грамотного, зато совестливого, пробившийся из самой глубинки в Сорренто:

“Мы, крестьяне, находящиеся в глуши от центра нашей матушки Руси, услышав Ваш приезд, радушно его встречаем за глаза. Мы надеемся, что Ваш приезд к нам будет исправлять имеющиеся наши промахи и ошибки наших правителей, т. к. появилось таковых очень много, как-то: растраты, самодурство, вплоть до контрреволюции, а это потому, по нашим крестьянским мнениям, что не проведен трудовой закон открыто.

Вам много сказать еще что есть. Полная власть на местах, как, например, — мелкие наши начальники, как сельсоветы, вики (волостные исполнительные комитеты. — *В. Ш.*), они прямо выдают себя кум королю, почти никогда не исполняют имеющиеся у нас законы, а в частности, кодекса земельного, т. е. закон говорит одно, а они делают другое, и это обстоятельство портит все строительство. А ежели коммунист, т. е. партийный, то к нему близко не подходи и его слово закон, а верно оно или нет, он в этом и не думает отдать отчета... И ежели у меня хватило смелости указать, что это неверно, то первое — рискуешь попасть в неприятные элементы, а кроме того, получишь ответ, что это делается в порядке партийной дисциплины. И вот плохо то, что доносят дальше и дальше, например, уезд, в порядке партийной дисциплины, его поддерживает даже губерния, а между тем это лицо творит полную контрреволюцию, и все это в порядке партийной дисциплины. И вот это и заставляет делать партийца смело всевозможные пакости, он знает, что у него есть ограда — партия, и это у нас так развелось, самовольство, нужно его изжить. Я полагаю, закон, изданный хотя на год, месяц, должен безоговорочно применяться строго ко всем, а к партийцу тем больше. У нас, ежели личность не понравилась секретарю волкома (волостного комитета. — *В. Ш.*) или вика, накладывают налог, продают последних коров, овец, постройки и т. п., и ваши все жалобы остаются в пустыне вопиющими. Все идет партийной линией...

Поэтому вот просим, наш гость, обратить на это внимание, это все Вам пишется верно. Плохо проводится такое важное дело, и плохо, когда коммунисты гадят и портят под предлогом коммунизма, да и суд как-то плохо глядит на имеющийся закон и делает, что ему нашепчут его сотоварищи, а также горе тому, кто не сделает по-ихнему, то завтра полетит вон, и так поставлено, что они не закона боятся, а боятся друг друга, а это на жизни сильно отражается. Просим подсобить нашим вождям ввести строгий закон, простой, прямо чтобы его знал каждый из нас в деревне и мог сказать и видеть, что это неверно, и он не боялся, что его за то будут преследовать, и это нужно скорее, скорее спасти нас от гибели...”

“Уважающий Вас Иван Бол...” — подписался под письмом автор, оборвав фамилию на первом слоге, словно зажав рот ладонью, — “крестьянин”... Один из многих миллионов русских людей, чей голос чудом, сквозь мглу лет и заточение на Лубянке, долетел до нас со словом правды.

Немало, конечно, рассказывали Горькому и частые гости, приезжавшие из Союза. Все они тоже попадали на заметку в ГПУ. Разбирая следственные дела литераторов, я, например, наткнулся на такой донос агента “Саянова”:

“Большое внимание следует обратить на лиц, которые по вызову Горького ездили к нему за границу в Сорренто. Очень может быть, что и здесь затесалось некоторое количество врагов, обманывавших честного и прямодушного старика.

Об одном таком “посетителе”, ездившем по вызову Алексея Максимовича в Италию, я знаю со слов П. П. Крючкова. Речь шла о Зубакине Б. М., неудачном поэте и, кажется, историке религии...”

Борис Зубакин!3 Однажды мне, в Комиссию по наследию репрессированных писателей, принесли целую пачку бережно сохраненных стихов этого прекрасного поэта. Удалось рассказать о нем по телевидению, показать его вдохновенное лицо, почитать стихи — и, как всегда в таких случаях, посыпались письма. Оказалось, многие берегли добрую память об этом поэте и о его трагической смерти — на Севере, в ссылке. Не исключено, что помог аресту Зубакина и этот донос “Саянова”. Дорого тогда стоила поэту поездка в Сорренто!

Вряд ли всю эту подоплеку понимал сам Горький. О чем-то догадывался, чем-то возмущался, но верил другому: там, в Союзе, в целом все идет как надо, по пути прогресса. Голоса одиночек тонули в сводном хоре других, более удачливых, его гостей, домочадцев, секретарей и советской печати — те твердили одно: ваш дом — на родине, там вы нужнее всего, там ваше место на земле. В самом деле, где его читатель? Где его больше всего печатают? Откуда идут основные гонорары? Вот и недавно он получил от Советского правительства значительную сумму — и за изданные книги, и за те, что только готовятся к печати.

Был у этого хора и свой невидимый дирижер. С тем же упорством, с каким в свое время выталкивал Горького за рубеж Ленин, теперь притягивал его к себе Сталин. Нежелание писателя жить на родине обсуждалось тогда всюду и бросало тень на руководство страны: вот-де Горький хоть и приветствует на словах советский режим, а жить-то все же предпочитает в фашистской Италии!

Советские журналисты будут объяснять возвращение Горького тем, что ему невмоготу жить вдали от вождя, от его братской любви, которая оплодотворяет творчество. Нет, не Сталин Горькому, а Горький Сталину был нужен.

Кто самый крупный писатель? Горький! При Ленине не смог жить, уехал, а теперь вернется, где же еще творить, как не в самой свободной и счастливой стране? Пусть одобрит, поддержит нас своим авторитетом, восславит своим пером. Кроме того, Сталин рассчитывал поставить Горького во главе литературы и тем самым навести в ней порядок — разумеется, под своим контролем, — установить иерархию, подобную партийной.

**Удушение в объятьях**

И вот настал час, когда Горький после почти семилетнего отсутствия снова увидел Россию, когда, по словам Луначарского, его “восторженно схватил в свои гигантские объятия победоносный пролетариат”.

Первые поездки его на родину были парадно-ознакомительными — он проводил здесь лето, а осенью неизменно возвращался в Сорренто. Дом в Москве для него подыскал сам Сталин, — построенный в начале века для миллионера Рябушинского роскошный особняк в стиле модерн на Малой Никитской, неподалеку от Кремля, сразу стал своего рода общественным и культурным центром, местом контакта власти с творческой интеллигенцией. Кроме того, Горькому были выделены две огромные комфортабельные дачи со специальной охраной — в Крыму и в Горках, под Москвой.

Опустим все те фанфары, которыми встречали писателя, — до сих пор только их мы и слышали, — заглянем вглубь событий, опираясь на следующий “культурный слой” в лубянском архиве. Это материалы следственных дел арестованных в 1937 году как “врагов народа” — участников контрреволюционного заговора — Генриха Ягоды, секретаря Горького Петра Крючкова, критика Леопольда Авербаха — своеобразного антигероя советской литературы и доносы литераторов, входивших в горьковский круг.

Со сложными чувствами, не без содрогания публикую я эти трагические, разоблачительные документы — в них много такого, что тоже заставит по-иному посмотреть на Горького и его окружение, да и вообще на историю нашей литературы. Иногда не хочется и верить открывшимся фактам, но приходится: факты, как верно говорил Владимир Ильич, — упрямая вещь.

Кроме публичного, общественного внимания, которым был окружен Горький с первых же шагов на родной земле, он сразу стал объектом тайного контроля, манипуляций со стороны органов и личной опеки самого Ягоды. Генрих Григорьевич вошел в дом Горького уже при первом визите писателя в Москву. Земляк, тоже из Нижнего Новгорода, считай, даже родня — женат на племяннице Якова Свердлова, а брат того, Зиновий, как известно, носит фамилию Пешков, — приемный сын Алексея Максимовича.

Поначалу шеф ОГПУ (в 1934-м переименованного в НКВД) держался, надо думать, осторожно и на почтительном расстоянии, постепенно, при последующих приездах Горького, сближаясь с ним и его домом все теснее. Главной его целью тогда было во что бы то ни стало перетянуть писателя в Советский Союз, и ясно, что добивался он этого не по личной инициативе, а по прямому указанию товарища Сталина.

Будучи сам агентурой Сталина, Ягода завел у Горького и собственную агентуру. Следующее звено в цепочке Сталин — Ягода, безусловно, Петр Петрович Крючков.

Это был облысевший блондин невыразительной внешности, небольшого роста, курносый, коренастый, упитанный, носивший пенсне. Знавшие его отмечают еще необычайно волосатые руки и кольцо с ценным александритом, которое он постоянно носил. Камешек тот имел свою историю. Когда-то он был привезен Горькому с Урала и подарен им своей второй жене — Марии Федоровне Андреевой. Потом александрит перекочевал от хозяйки на волосатую руку Пе-пе-крю — у нее он тоже одно время секретарствовал.

Других ярких примет за ним не числится.

Сотрудничая с Горьким с 1918 года, Крючков постепенно забирал в свои руки общественные, литературные и издательские связи писателя, так что стал в конце концов не только его канцелярией, но как бы и двойником, часто подменяя его и выступая от его имени во множестве дел. И надо отдать должное, этот умный и аккуратный человек сделал для Алексея Максимовича очень много полезного, был ему и в рабочем, и в житейском плане просто необходим.

Неизвестно, был ли связан Крючков с органами до знакомства с Ягодой, но после его двойная роль несомненна. Уже будучи в тюрьме, на следствии, он рассказал, что вплоть до ареста Ягоды постоянно бывал у того на квартире, а в выходные дни и на даче. Часто встречались они и у Горького. “Установились дружеские отношения”, — говорит Крючков — смысл и характер дружбы секретаря писателя и главы Лубянки прозрачен.

— А в здании НКВД вы встречались с Ягодой? — спросил следователь.

— Примерно пять-шесть раз в год я бывал у Ягоды в его служебном кабинете.

— По каким делам вы ходили к нему на службу?

— Часто я ходил к нему в связи со своими поездками в Италию, к Горькому. И иногда за деньгами.

— Какими деньгами?

— Например, в 1932 году Ягода по своей инициативе передал мне четыре тысячи долларов для покупки за границей машины для Горького. В 1933 году Ягода предложил мне две тысячи долларов (хотя я не просил), мотивируя это тем, что нам, мол, не хватает денег для ликвидации дачи в Сорренто. Деньги эти я взял, без расписки...

Признания ошеломляющие! Оказывается, Горький финансировался ОГПУ еще живя в Италии. Это, по понятным причинам, держалось в глубокой тайне, скрывалось аж до наших дней и вот только теперь всплывает наружу. И как финансировался — деньги передавались без всякого оформления, из рук в руки. Тут есть о чем подумать...

Знал ли о щедрых подарках Лубянки сам Горький? Не мог не знать. Но тогда его сближение с Ягодой, увы, приобретает еще одну, весьма прозаическую, окраску...

Больше того, как выясняется из показаний Крючкова, Ягода снабжал деньгами не одного Горького, но и других членов его семьи:

— Несколько раз я получал от Ягоды денежные суммы в иностранной валюте для М. И. Будберг, также без расписок. Для той же Будберг Ягода в 1936-м передал Н. А. Пешковой, невестке Горького, и мне четыреста фунтов (просили триста). Наконец, в сентябре 1936-го (то есть уже после смерти Горького. — *В. Ш.*) Н. А. Пешкова мне сказала, что получила от Ягоды через его личного секретаря Буланова большую сумму в долларах. Рассказывая мне об этом, Пешкова со смущением заметила: “Зачем мне всучили такую большую сумму?”

— Чем объясняется такого рода щедрость Ягоды? — спросил следователь.

— Эта щедрость, конечно, не случайна. Это задаривание близких к Горькому людей находится в тесной связи с линией Ягоды, особенно обозначившейся начиная с 1931 года, — линией на монополизирование влияния в доме Горького в своих целях...

Крючков подробно расписывает это навязчивое влияние, которое доходило до того, что Горький после долгих и подробных рассказов Ягоды с возмущением говорил:

— Зачем он мне рассказывает такие вещи, о которых мне не нужно знать?..

Степень доверительности тут была такой, что Ягода даже посвящал писателя в служебные секреты, видимо считая его совсем своим. Поведал ему о похищении в Париже белогвардейского генерала Кутепова, организованном ОГПУ. Или втайне надеялся стать горьковским персонажем, предлагал себя в качестве героя?

Крючков на допросе называет двух женщин — очень близких Горькому.

Мария Игнатьевна Будберг, она же Закревская, она же Бенкендорф, она же в доме Горького Мура, Титка, — неофициальная третья, и последняя, жена Горького. Очаровательница и авантюристка, имевшая среди своих многочисленных мужей и любовников и таких знаменитостей, как классик шпионажа Локкарт и классик литературы Герберт Уэллс. Тайне Муры посвящена целая книга — “Железная женщина”, автор, Нина Берберова, много сил кладет на то, чтобы разгадать эту тайну.

Предполагается, что Будберг была двойным агентом — английским и советским, предполагается, но не утверждается, ибо доказательства запрятаны глубоко, а возможно, и уничтожены.

Кроме денег, получаемых ею от Ягоды, есть еще одно косвенное свидетельство о причастности Будберг к нашим доблестным органам. Следственное дело Крючкова открывается списком восьми “скомпрометированных” им лиц, и среди них не был арестован и уничтожен в застенках советских тюрем только один человек — она, Железная женщина, отмеченная в списке как “участница антисоветской организации правых”. Правда, в 1938 году, когда шел процесс, она уже была далеко, в Лондоне, но ведь добраться туда для органов — не проблема. Видно, ей на роду написано войти в историю этаким сфинксом в юбке.

Еще более глубокое проникновение в дом Горького пытался осуществить Ягода через невестку писателя, жену его сына Максима, мать его внучек. Но не просто расчет притягивал его, очевидно, к Надежде Пешковой, а истинная страсть: и ему хотелось быть любимым. А тут и красота, и необычайная женственность — ее отмечали все, включая Ромена Роллана (“молодая очень красива, весела, проста и прелестна”), — и талант (она была художницей), и дар вести домашнее хозяйство, поддерживать огонь в семейном очаге.

Отметем сплетни вокруг имени Надежды: никаких доказательств, что у нее был роман с Ягодой, нет, а есть только многочисленные рассказы о назойливых и нескромных ухаживаниях вездесущего Генриха, ставивших объект его внимания в двусмысленное, неловкое положение. Так или иначе, вольно или невольно, и она, Тимоша, как и все домочадцы Горького, входила в сферу влияния шефа ОГПУ, могла при случае в чем-то помочь ему, хотя бы информировать.

Был к тому же и многочисленный штат прислуги — повара, шоферы, библиотекари, садовники, уборщицы и прочие — на Малой Никитской и на обеих дачах, их тоже можно было завербовать или употребить для дела. Вовсе не обязательно люди эти являлись агентами Лубянки, многие помогали органам искренне, добровольно, потому что были правоверно советскими или действовали, как они считали, из благих побуждений, в интересах Горького.

Прибавим сюда и самих чекистов, например Семена Григорьевича Фирина и Матвея Самойловича Погребинского, частенько навещавших писателя. Его глубоко волновала идея коммунистической перековки душ — эти двое стояли во главе исправительно-трудового воспитания заблудшей народной массы: первый руководил лагерями Беломорстроя и был заместителем начальника ГУЛага, второй ведал созданием специальных коммун для уголовников.

Так что Горький, навещая Россию и тем более окончательно перебравшись на родину в 1933 году, оказался в плотном кольце служителей Лубянки, в центре змеиного гнезда, вырваться из которого он уже не сможет. Даже снабжение писателя и его семьи было поручено управлению НКВД, тому же, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро, а дом Горького был связан прямым проводом с кабинетом Ягоды.

Это многослойное окружение все глуше отгораживало Горького от внешнего мира, реальной жизни. Но ведь и сам он не пытался разорвать его, принимая предложенную ему “нишу” без сопротивления. Тем более что кольцо это удобно и приятно камуфлировалось то под лавровый венок, то под юбилейный пирог.

Огромный штат осведомителей был у НКВД и среди братьев писателей. Я обнаружил донесения по меньшей мере четырех сексотов, зашифрованных кличками, — и все вхожи к Горькому, все работают не покладая рук. Да и шире — литературное общение Горького было во многом несвободно, навязано ему.

— Я подвел к Горькому группу писателей: Авербаха, Киршона, Афиногенова, — рассказывает Ягода на следствии, — с ними же бывали Фирин и Погребинский. Это были мои люди, купленные денежными подачками, игравшие роль моих трубадуров не только у Горького, но и вообще в среде интеллигенции. Они культивировали обо мне <представления> как о крупном государственном муже, большом человеке, гуманисте. Их близость и влияние на Горького были организованы мной и служили моим личным целям.

О том же дал показания и Крючков:

— Эти люди представляли собой своеобразную агентуру Ягоды вокруг Горького. В задачу Авербаха, Киршона и Афиногенова помимо всего прочего входило всячески в глазах Горького превозносить Ягоду, рекламировать его роль в перековке людей, то есть в той области, которой Горький особенно интересовался. Ягода, в свою очередь, изо всех сил старается поднять удельный вес этой своей агентуры и протащить ее к руководству литературными организациями.

А вот как все это выглядит с точки зрения Леопольда Авербаха, из его показаний на следствии:

— Я и ряд моих товарищей часто бывали у Горького и были с ним крепко связаны. На деле мы вовлекали Горького в нашу групповую борьбу, причем именно Ягода посмеивался над тем, что мы, дескать, недостаточно вовлекаем Горького, не умеем использовать его отношение к нам, что мы зря в этом отношении церемонимся. Основной тон его размышлений, опять-таки типически характеризующий его, сводился к сентенции: в драке все средства хороши, отбросьте романтические морализирования и стеснения, опирайтесь на Горького как на силу, гнилая интеллигентщина, дескать...

Поначалу Горький недолюбливал Авербаха — этого крикливого, пронырливого, самоуверенного демагога, более способного к интригам, чем к творчеству. Плотный здоровяк, с круглой, бритой, похожей на бильярдный шар головой, с уверенным, хорошо поставленным голосом, всегда в бойцовской позиции, неистовый Леопольд даже внешне являл собой образец героя нового времени, комсомольского вожака, заводилы и застрельщика. Книгами своими Авербах похвастаться не мог, зато постоянно намекал на близость к партийной элите: мать его — сестра Якова Свердлова, жена — дочь Бонч-Бруевича, а сестра Ида — законная супруга Ягоды, самого шефа ОГПУ. А по всепроникающей паутине свердловских корней он добирался через Зиновия Пешкова, своего дядю, и до Горького — получалось и тому хоть седьмая вода на киселе, а родня.

Будучи председателем Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), Авербах претендовал на руководство всей литературой, будучи родней Ягоды, располагал хитрыми способами добиться этого. И оказывался порой даже сильнее самого Горького. Когда Алексей Максимович попытался защитить от рапповской травли Евгения Замятина, Михаила Булгакова и Бориса Пильняка, доказывая, что они не мешают истории делать свое дело, слова эти так и не были услышаны: напечатать статью писателя с мировым именем не удалось. Издательскую политику вершили авербахи.

Ягода сделал все, чтобы расположить Горького к своему шурину. Когда Горький жил в Москве, эти двое почти каждый выходной день заявлялись к нему. Авербах даже гостил несколько месяцев в Сорренто и сумел-таки втереться в доверие к Алексею Максимовичу.

В 1937 году в своем заявлении наркому внутренних дел Ежову арестованный Авербах признался:

“Я особенно торопил переезд Горького из Сорренто, и когда я ехал в Италию, Ягода именно с точки зрения своих расчетов просил меня систематически убеждать Алексея Максимовича в скорейшем полном отъезде из Италии”.

Из Сорренто Авербах возвращался “радостный и гордый” — Горький уже готовил чемоданы к своему очередному советскому вояжу. И для себя его гость кое-что схлопотал: обеспечил смычку писателя с рапповцами. В Москве Авербах сразу помчался в ЦК докладывать, что Горький смотрит на РАПП как на проводника линии партии в литературе.

Но тут-то Авербах и просчитался, переусердствовал, забежал впереди телеги. У партии были свои планы, что делать с литературой. Прошло несколько месяцев, и в апреле 1932 года как снег на голову — постановление ЦК “О перестройке литературно-художественных организаций”. И РАПП, которую еще вчера наша печать называла не иначе как ячейкой ЦК в литературе, а заграничная — сталинской дубинкой, ликвидировали, появился Оргкомитет во главе с Горьким, призванный покончить с групповщиной, объединить всех писателей в единый Союз советских писателей. Терять привилегии не хотелось — по испытанной большевистской привычке Авербах бросился было в драку и тем самым еще больше себе навредил, навлек на себя гнев самого Хозяина. Сталин, собрав у себя всех этих передравшихся писателей, устроил ему публичную трепку, после чего наш забияка, конечно, присмирел.

В том же году прогремел очередной праздник в честь Горького, обставленный с неприличной помпезностью. Повод — сорок лет творческой деятельности. Пользуясь именем писателя как государственной собственностью, Сталин распорядился засеять им всю страну. Имя Горького получил Литературный институт, Центральный парк культуры и отдыха и Тверская улица в Москве, десятки улиц в других городах и весях, Нижний Новгород вместе с областью, сотни фабрик и колхозов, библиотек и школ, Ленинградский Большой драматический театр и Московский Художественный...

— Товарищ Сталин, но это же больше театр Чехова, — робко заметил один из литературных функционеров, Иван Гронский.

— Не имеет значения. Горький — честолюбивый человек. Надо привязать его к партии канатами...

Горький “подарок” принял, не возражал. Критики он мог не бояться — критиковать его было уже запрещено.

Так по образу и подобию сталинского культа создавался культ Горького в литературе, давящий и губительный.

26 октября 1932 года в доме на Малой Никитской состоялась знаменательная встреча, которая вошла в историю и определила литературную политику на много лет вперед — вплоть до самой горбачевской перестройки. Об этой встрече писалось по-разному: каждый участник трактовал ее по-своему и, как правило, тенденциозно, исходя из собственных интересов, но лишь так, как в тот момент разрешалось сказать.

Взглянем и мы на эту встречу — теперь материалы, которые были спрятаны в секретных архивах, позволяют более объективно представить, что здесь произошло.

Вот я стою в дверях просторной столовой горьковского Дома-музея. Справа — рояль и на нем фотография, с которой смотрят чудесные, счастливые лица — невестка Алексея Максимовича и его маленькие внучки Марфа и Дарья. Длинный стол уходит от двери к широкому причудливому окну. Книги, портреты. Экспозиция. Шуршат войлочными тапками редкие посетители...

В осенний вечер 1932-го здесь все выглядело иначе. Исчезает фотография с прекрасными лицами. Тимоша с детьми, наверно, где-то наверху, укладывает их в постель. Столы — по всей комнате, в белых скатертях, ломятся от выпивки и закусок. Окно плотно задернуто шторой. Сияет люстра.

Столовая переполнена. На почетных местах — кремлевские вожди: Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович... Впрочем, они совсем не выглядят вождями — просты, доступны, острят, с удовольствием едят и пьют. Вокруг и вперемежку — писатели, с полсотни человек, — эти более сдержанны, насторожены. Нет здесь ни Ахматовой, ни Мандельштама, нет Пастернака и Платонова, нет Булгакова и Бабеля, Андрея Белого, Николая Клюева, Бориса Пильняка — тех, кого сегодня мы считаем гордостью и славой нашей литературы. Зато много просто талантливых, “хороших и разных”, но только “своих”. И еще больше — функционеров и деятелей от литературы.

Не будем слушать все речи и спичи, прозвучавшие здесь, — многое теперь покажется не столь уж интересным и очень далеким от творчества. Сначала решали организационный вопрос: кому и как руководить литературой, мирили рапповцев и оргкомитетчиков. Другая проблема была посложней — ведь мало собрать писателей в единое стадо, надо задать им направление, руководящую идею, указать не только как жить, но и как писать. Нужен основополагающий принцип, метод работы. О пресловутой свободе творчества не упоминалось — ее как несуществующую оставили врагам социализма. Устами мудрого Сталина была предложена своя, самая передовая, невиданная теория — соцреализм.

Будем справедливы, Сталин — не единственный творец этой единственно правильной теории. Тут, как в бессмертной гоголевской пьесе, надо еще поискать, кто первым сказал “Э!”.

Горький, например, тоже немало потрудился в поисках руководящего принципа для писателей, единой главной линии, чтобы идти в будущее не поодиночке и порознь, а стройными рядами и в ногу, четко выполняя команду, не сбиваясь с пути. Еще раньше, на другой писательской встрече, Алексей Максимович предлагал:

— Не следует ли нам объединить реализм и романтизм в нечто третье, способное изображать героическую современность более яркими красками, говорить о ней более высоким и достойным тоном?

Но и он не был тут первооткрывателем. Размышляя над феноменом Ленина, Горький заметил, что правота того была не только в силе разума и несокрушимой теории, но и в чем-то еще кроме этого... Это еще, думал Алексей Максимович, есть высота точки наблюдения, а она возможна только при наличии редкого умения смотреть на настоящее из будущего... Эта высота, это умение и должны послужить основой того “социалистического реализма”, о котором у нас начинают говорить.

Проросли зерна, брошенные Ильичом!

Вот эту идею теперь и подхватил Сталин, верный продолжатель дела Ленина. Именно так. Изображать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. Жить в настоящем, а смотреть из будущего!

Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь понимал на самом деле, что это за штука такая — соцреализм. Недаром советские литературоведы посвятили его толкованию целую библиотеку. Участник встречи в горьковской столовой И. Гронский предлагал Сталину назвать новый метод литературы и искусства пролетарским социалистическим, а еще лучше — коммунистическим реализмом, но тот выбрал — социалистический. На одном из собраний художников в то же время Гронского атаковали вопросами:

— Скажите хотя бы что-нибудь о социалистическом реализме...

Гронский ответил кратко:

— Соцреализм — это Рембрандт, Рубенс и Репин, поставленные на службу рабочему классу, — и пошел дальше.

И пошли дальше. Рассказывают, что Михаил Шолохов как-то, уже в хрущевские времена, поехал в Болгарию. Там его спросили: что такое соцреализм, классиком которого он является. Подвыпивший Шолохов ответил так:

— Был у меня друг, Сашка Фадеев. Я его часто спрашивал: Сашк, а что такое соцреализм? И знаете, что он отвечал? А черт его знает, Миша!

Так до сих пор никто и не выяснил, что это за овощ и как его едят.

Но вернемся в горьковский дом. Застолье там уже в самом разгаре. Полилась водка, вспыхнул смех, и вот писатели осмелели, забалагурили, задвигались, перемешались с вождями. Фадеев уговаривает Шолохова спеть, Малышкин лезет чокнуться с товарищем Сталиным.

— Выпьем за товарища Сталина! — трубит поэт Владимир Луговской.

И тут происходит нечто ужасное. Сидевший напротив Сталина прозаик Н. Никифоров, которому Иосиф Виссарионович щедро подливал, вдруг вскакивает и, окончательно расхрабрившись, кричит:

— Надоело! Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина! Небось даже ему это надоело...

Притихли. Поднимается и Сталин. Протягивает руку своему визави и пожимает кончики пальцев:

— Спасибо, Никифоров, правильно. Надоело это уже.

Загудели, как улей.

И чем уж совсем покорил Сталин писателей в тот вечер — он назвал их инженерами человеческих душ, добавив, что производство душ важнее производства танков. Пытался было что-то возразить военный нарком Клим Ворошилов, но был посажен на место: да, важнее танков! Воодушевленные и гордые от сознания своей значительности, разошлись писатели по домам.

Так в литературу был встроен жесткий идеологический каркас, сковавший ее на много лет вперед. А на широко разрекламированном Первом съезде советских писателей, собственно, только довели до сведения общества то, что уже давно решили и продумали до мелочей в кабинете Сталина и горьковской столовой, выдав это за чаяния самих инженеров человеческих душ.

Пройдет несколько лет, и каждый четвертый из участников памятной встречи у Горького окажется в тюрьме, многие будут расстреляны, и, конечно, наивно-неосторожный Никифоров.

О закулисных манипуляциях в литературной среде много и подробно рассказывали и Крючков, и Авербах, когда попали за решетку. Из их показаний встает перед нами многоликий собирательный образ шефа НКВД, умевшего, оставаясь в тени, направлять события. Работая над горьковскими бумагами, я часто повторял про себя: ищешь Горького — найдешь Ягоду! — таким вездесущим он оказывался. И понятно, что именно из сверхзасекреченных архивов Лубянки впервые выходит на свет так обнаженно и с такими подробностями эта историческая фигура — советский Фуше.

Крючков сообщал, что Ягода изо всех сил пытался сделать Авербаха генеральным секретарем Союза писателей, при председателе Союза Горьком, добиваясь согласия последнего, даже снабжал его тенденциозно составленными сводками ГПУ. В тех же целях — поставить своего человека во главе литературы — Ягода в 1933 году дал указание Авербаху написать письмо Сталину.

— Особую активность начинает проявлять агентура Ягоды в 1934 году в связи со съездом писателей, — говорит Крючков. — В результате Горький в письме к Сталину снова выдвигает Авербаха в руководство Союза писателей. Ягода проявляет к этому особый интерес, неоднократно расспрашивает меня, есть ли ответ от Сталина...

И опять — новости. О стараниях Горького поставить во главе литературы Авербаха раньше не было известно. В первый раз мы узнаем и об этих письмах — в Кремль. След с Лубянки ведет прямо в архив Сталина, до сих пор спрятанный от глаз людей, — именно там надо искать разгадку многих тайн не только нашей истории, но и литературного процесса.

Целое исследование о происках и личности Ягоды написал на следствии Авербах в своих собственноручных показаниях, выдержанных в присущем ему демагогическом стиле. Еще вчера подобострастно выслуживавшийся перед своим высокопоставленным родственником, спекулирующий близостью к нему, Авербах теперь всячески очерняет его, пытаясь этим обелить себя:

“Я по-новому вижу теперь Ягоду... Я понимаю теперь, что за его отношением к Горькому, например, скрывалась отнюдь не любовь к старику, не старая привязанность к нему, не естественная тяга к тому гигантскому внутреннему обогащению, которое давало общение с Горьким. Связь с Горьким нужна была ему как суррогат отсутствующей у него связи с советской общественностью, как возмещение отсутствия у него корней в рабочем классе и в партии.

Меня всегда несколько удивляло и неприятно поражало, с каким волнением расспрашивал Ягода, не было ли у меня в разговоре с Горьким чего-нибудь касающегося его, Ягоды, как отзывался о нем Горький. Я объяснял это кругом явлений, относящихся к дружбе Ягоды с Тимошей. Но мне ясно теперь, что за этим скрывалась просто боязнь того, что Горький, мудрейший знаток человеческой души, поймет и раскроет его душонку, почувствует его внутреннюю гниль и растленность...

Ягода не разбирался в существе литературных вопросов. Да он явно и не ставил перед собой этой задачи. Читал он крайне мало и о ряде имен и произведений знал только понаслышке. Всех основных литературных знакомых Ягоды (кроме, конечно, Горького) ввел к нему я... В разговорах с Горьким мы говорили о том, что Ягода — не политик, что он хозяйственник, организатор, администратор, честно проводящий линию партии, но, несмотря на свое место руководящего чекиста, никак не участвующий в ее выработке.

Ягода говорил со мной, посвящая меня в свои планы так откровенно не только потому, что я его родственник. Нет, в заговорщической деятельности Ягоды я выполнял роль орудия в его планах на Горького, в ряде случаев выполнял роль политического советника...

Меня особенно поразило, что Ягода со смешком относится к сути дела, что он все сводит к личным взаимоотношениям, случайным мелочам... Но теперь для меня ясно, что это важнейшая черта, характеризующая его вообще, неизбежно рожденная его провокаторским прошлым. Он никогда не вел разговоров на политические темы, он всегда посмеивался надо мной за то, что я, дескать, всюду ищу какие-то принципы и теории. В облике Ягоды главным было грязное принижение всего, подлое, циничное отношение к людям, местечковое комбинаторство, попытки во всем и вся найти что-то низменное и из него исходить...

Политика и власть требуют суровости и жестокости. Они не мирятся со щепетильностью в выборе средств, в желании прожить в белых перчатках, с брезгливостью — и вот расшифровка: программа, теория, массы — только мишура, игра, пыль в глаза. В лучшем случае у искренних, а потому, с точки зрения Ягоды, дополнительно глупых — романтические бредни. Реальная политика — борьба за власть во имя личного самоустроения. Ее высший закон — умение ставить одновременно на разные силы, жить их столкновениями, перестраховываться. Тактическая мудрость — в беспринципном комбинаторстве и ловком маневрировании, основанном на принципе “главное — не стесняться”. Это не новый вариант Никколо Макиавелли или Игнасио Лойолы. Это местечковый меняла, вдруг почувствовавший себя на международной бирже в кресле Ротшильда.

Люди делятся на своих и не своих. Задача заключается в наличии большого кадра своих людей, своих — значит, лично преданных, то есть чем-то обязанных, поставленных в такое положение, что им опасно перестать быть своими, то есть чего-то боящихся, то есть привязанных на чем-то низменном и грязном. О своих людях Ягода всегда говорил с омерзительным цинизмом. Поражало, что он радовался всему, что выяснялось плохого о ком-либо. К каждому надо, конечно, найти ключ, но лучше и прочнее всего, если этот ключ — от кармана... Свято одно — удачная интрига. Что там борьба классов — вот, дескать, за ней найти борьбу интриг и эти интриги учесть и перекрыть! Всех надуть — высшее достижение...”

Неплохой портрет — даже с литературной точки зрения!

“Мне стало ясно, — продолжает Авербах, — что за отношением Ягоды к Горькому скрывается определенная политическая игра, находящаяся в связи с его постоянной боязнью за отношение к нему партруководства... Горький был нужен Ягоде как орудие в игре, как надежда на помощь, как, в случае разоблачения, прикрытие. Здесь были расчеты на то, что воспоминания о давнем знакомстве с Горьким могли рассматриваться всеми как свидетельство его революционного стажа. Он стремился быть своим человеком у Горького для того, чтобы свою собственную внутреннюю безыдейность и интеллектуальную скудость прикрыть авторитетом дружбы с Горьким. А главное, Ягода стремился к тому, чтобы встречаться у него с членами Политбюро, чтобы через Горького воздействовать на оценку его, Ягоды, членами Политбюро...”

Этот особый интерес лубянского начальника подчеркивает в своих показаниях и Крючков:

“Другая сторона линии Ягоды в доме Горького заключалась в стремлении быть постоянно в курсе того, о чем говорят члены Политбюро, бывающие у Горького. Проще говоря, Ягода в своих целях практиковал внутреннюю слежку за членами Политбюро.

Обычно он на эти встречи не приглашался. Роль такого рода информаторов Ягоды играли, в частности, я и Тимоша. Как правило, каждый раз, как только члены Политбюро уезжали от Горького, Ягода в тот же день или на следующий приезжал или звонил мне по телефону, спрашивая: “Были? Уехали? О чем говорили? За ужином говорили? О нас говорили? Что именно?” — и т. д. На эти расспросы я обычно рассказывал ему то, что мне становилось известным либо от личного присутствия при этих разговорах, либо от Горького.

В тех случаях, когда мне лично приходилось по поручениям Горького бывать у Сталина, Ягода расспрашивал, а я рассказывал о характере поручений и содержании разговора. Так было, в частности, в 1931 — 1933 годах, когда я с письмами Горького из-за границы бывал у Сталина. Ягода расспрашивал меня о содержании этих писем...”

И снова — сообщение о каких-то неведомых письмах, и опять след уводит в тот же архив Сталина...

А вот письмо Горького к Авербаху хранилось в деле последнего, пока его не прибрал к рукам архив ЦК КПСС. Осталась ссылка на это и изложение письма в виде справки — из нее видно, что в результате пронырливой активности Ягоды и активной пронырливости Авербаха Горький возложил на неистового Леопольда исполнительную власть в литературе, оставив себе роль законодателя. Он указывает из своего Сорренто, кого из писателей следует печатать, каковы должны быть литературные герои и общее направление в литературе.

“Будите людей, поднимайте на дыбы. Пишите, читайте, это Ваше дело...”

Если бы Авербах только, как советовал Горький, будил людей, поднимал на дыбы, писал и читал! В том-то и дело, что интересы литературы и интересы политики сплелись в один неразрывный клубок, разделить их было нельзя. Все смешались, кружились в этом бесовском танце — Горький и Сталин, Авербах и Ягода, Киршон — Афиногенов, Фирин — Погребинский...

И если Авербах поднимал людей на дыбы, то Ягода — на дыбу.

А дыба эта в творчестве заплечных дел мастеров принимала различные формы — тут и тюрьма, и концлагеря, и каторжные стройки, и расстрелы.

И что же Горький, великий человеколюб, — протестовал, как когда-то, при Ленине? Отнюдь, наоборот — благословлял, приветствовал, вдохновлял!

“Горький неимоверно высоко ценил работу НКВД с преступниками и отзывался о ней с нежным восхищением, со слезами радости, — показывал на следствии Авербах. — У него было чувство горячей и какой-то просто личной благодарности к тем, кто ведет эту работу. Я думаю, что в его отношении к Ягоде громадную роль сыграло то, что эта работа связывалась у него с именем Ягоды...”

Возможно, близость Горького к карательным органам располагала к ним и зарубежных наблюдателей советской жизни. Доверие к писателю, мировой авторитет невольно распространялись и на его окружение.

“Полицейским идеализмом” Ягоды чуть было не увлекся и Ромен Роллан во время своего посещения Горького в 1935 году. Он, правда, оказался все же трезвее своего друга и оставил за собой право на сомнение, право на защиту безвинных жертв.

Каким увидел шефа НКВД Ромен Роллан?

“У “страшного” Ягоды — тонкие черты лица, и выглядит он уставшим, но изысканным и еще молодым человеком, несмотря на седину довольно редких волос (он напоминает мне Моруа, но более утонченного); темно-коричневая форма прекрасно сидит на нем; говорит он спокойно и вообще весь — олицетворение мягкости...”

Завязался разговор. Ягода возмущен тем, что в советском праве нет идеи мщения, хвастается заботой о гигиене заключенных. Роллана удивляет, что при этом его собеседника совершенно не волнуют страдания, человеческие чувства. И в то же время он вызывает симпатию, хочется ему верить.

Но снова сомнения: Ягода убеждает, что в Советском Союзе нет цензуры писем и что вообще режим слишком мягок. Неужели он считает всех такими наивными простаками? Как будто мы не знаем, что письма и к нам от здешних друзей, и от нас к ним проверяются и приходят распечатанными, с рассчитанным на дураков штемпелем: “Извлечено из почтового ящика в поврежденном виде”! Даже полиция Фуше работала аккуратней, хоть не перепутывала письма, рассовывая их обратно по конвертам, — а мы получали и такие...

“Но даже зная все это, — запишет после беседы в своем дневнике Роллан, — испытываешь чувство вины за свои сомнения, глядя в честные и кроткие глаза Ягоды”.

Господи, французскому гуманисту, с его представлениями о человеческом достоинстве, даже в голову прийти не может, с кем он разговаривает, кто перед ним сидит!

Ягода продолжает рассказ о своей кипучей деятельности на ниве перевоспитания преступников, — глаза загораются огнем, в голосе — сдержанное волнение. Загадочная личность, изучает его Роллан, что за контрасты! Безжалостный командир НКВД — и полный благости святой в миру...

— Лет через десять — двадцать преступников у нас не будет! — обещает Ягода.

Какие иллюзии! — удивляется Роллан. Как может политик такого ранга впадать в сентиментальный оптимизм в духе Жан-Жака Руссо? Нет, будущее наверняка обманет надежды этого фанатика...

И кому верить в этой стране? Вот Екатерина Павловна Пешкова ненавидит Ягоду, сурово осуждает его. То, что она рассказывает о положении в стране, совершенно противоречит тому, что говорит Ягода. Она уже отчаялась... А другие уверяют, что Генрих — добрый человек, с больным сердцем, ему можно только посочувствовать — надорвался, бедняга, на неблагодарной работе, столько взвалил на плечи...

Сегодня мы можем сказать определенно: это выдумки или заблуждение, что Горький сопротивлялся насилию и что стал бы помехой в 1937 году, за что-де Сталин его и убрал. Желание спасти репутацию писателя, приукрасить историю понятно, но, увы, обречено. Хотелось бы верить, но факты говорят о другом. Горький — вторая по значению фигура в стране — не протестовал против небывалого в истории закона, по которому правительство объявило равную со взрослыми кару, вплоть до смертной казни, детям от двенадцати лет, даже за воровство. Он “не заметил” ареста поэтов Николая Клюева и Осипа Мандельштама и еще в 1929 году, съездив на Соловки, выразил восторг от первого советского концлагеря. Уже тогда он предал свой народ, благословил тиранию.

Побывав на каторжном строительстве Беломорканала, Горький обнимал Ягоду и проливал слезы от умиления:

— Вы сами не понимаете, черти драповые, что вы делаете!

Понимали, еще как понимали. И посмеивались, должно быть, над чувствительным стариком.

Если бы провести конкурс на самую позорную и лживую книгу в истории, то на первый приз вполне может претендовать “Беломорско-Балтийский канал имени Сталина”. Это под руководством Горького советские писатели целой ватагой выполняли социальный заказ и с воодушевлением, с подъемом писали апологию рабского труда.

Это Горький, когда под предлогом борьбы с кулаками уничтожали крестьянство, кормильца России, дал властям страшный лозунг: “Если враг не сдается — его уничтожают” (“Правда”, 15.XI.30). Каким эхом отзовется горьковский призыв по всем тюрьмам и лагерям, сколько зеков услышит его из уст палачей!

“Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства”, — писал он о фальсифицированном, постыдном суде над технической интеллигенцией, Промпартией.

Это он в 1931 году соглашался с судом над меньшевиками, среди которых были и его прежние друзья, называл их преступниками и вредителями и добавлял, что не все еще выловлены и надо еще ловить.

“Как великолепно развертывается Сталин!” — восклицает он в письме Халатову, главе Госиздата. А через год уже называет партийного вождя “Хозяином” — не с подачи ли Горького это слово закрепится за Сталиным в советском словаре?

Это он позднее, после убийства Кирова, когда без суда и следствия по приговору троек расстреливали мнимых шпионов и диверсантов, призывал: “Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно, нимало не обращая внимания на стоны и вздохи профессиональных гуманистов!” (“Правда”, 2.I.35).

Трудно сказать, когда в точности произошло с Горьким такое перевоплощение: он стал не только жертвой, но орудием Сталина и НКВД в духовном закабалении страны. А дальше его ждал только один конец — нравственная и гражданская деградация. Это и есть настоящая история его болезни, которая, конечно, ускорила и физическую смерть. Не предчувствие ли такого конца диктовало ему еще в 1914 году отчаянные строки:

Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?..

**Предсмертие**

В мае 1934 года Горького постигло страшное горе. Внезапно, проболев всего несколько дней, умер его сын Максим.

Событие это до сих пор окутано тайной. В естественную смерть Максима мало кто поверил. Молодой и здоровый, спортивный, полный энергии человек, талантливый художник и заядлый автомобилист, Максим увлекался воздухоплаванием, строил планы о полярных путешествиях и уже успел побывать в Арктике. Правда вот, выпивал, но на Руси это заурядная привычка. И вдруг — погиб, в одночасье, от обычной простуды.

“Захворал папа, простудился на аэродроме, лежит, кашляет”, — пишет Горький внучкам, бывшим в то время в Крыму. “Простудился на рыбной ловле”, — вспоминает Тимоша. “После выпивки я вывел Макса в сад и оставил на скамейке”, — признается Крючков.

Таковы противоречивые сообщения домочадцев.

Властями смерть Максима была квалифицирована как злонамеренное убийство. Но это не сразу, позднее, когда в 1938 году окажутся на скамье подсудимых участники так называемого “правотроцкистского блока” и среди них — Ягода и Крючков, когда уже не будет в живых и самого великого писателя и смерть сына и отца свяжут в один узел коварного заговора. Тогда убийство Максима будет рассматриваться как удар, направленный в его отца: через устранение горячо любимого сына подорвать здоровье Горького, морально сразить его, вселить апатию к общественной деятельности, ускорить смерть. А зачем надо было убивать Горького? Он — помеха для задуманного государственного переворота, потому что до конца будет с партией, Сталиным, и никаким другим путем его не вырвать из-под влияния вождя.

Убить Максима задумал Ягода. По этой версии, он создал целую преступную группу в составе Крючкова и докторов — домашнего врача горьковской семьи Левина, профессора Плетнева, доктора Виноградова — из санчасти НКВД. В деле Крючкова на сей счет говорится подробнейшим образом.

— Какие интересы преследовали при этом вы? — спросил Крючкова следователь.

— Я лично был заинтересован в устранении Максима как наследника Горького. Ягода это хорошо знал и эту мою заинтересованность использовал. Дело в том, что в 1918 году мне удалось пристроиться к Горькому, втереться к нему в доверие, стать его личным секретарем. На протяжении всех лет я пользовался полным его доверием и являлся полновластным хозяином в его доме, во всех его литературных, издательских делах, бесконтрольно распоряжался всеми его средствами.

У меня возникла мысль убрать Максима Пешкова с тем, чтобы остаться монопольным хозяином, распорядителем значительного литературного наследства Горького, дававшего незаурядный доход. Таким образом, предложение Ягоды об устранении Максима полностью совпало с моими личными интересами, и я его без долгих колебаний принял.

Ягода в беседах со мной намекал, что ему известны мои стяжательские махинации со средствами Горького: “Петр Петрович, я буду с вами откровенен. Я понимаю, что означает для вас ваша роль, ваше положение в доме Горького. А я вас могу в два счета от Горького отстранить. Больше того, ваша судьба целиком в моих руках. Имейте в виду, что первый нелояльный ваш шаг по отношению ко мне повлечет за собой более чем неприятные последствия...”

Получение задания, по протоколу допроса, выглядит так:

— Надо устранить Горького, — говорит Ягода.

— Но как это сделать? — Крючков.

— Вы ведь знаете, как сильно Алексей Максимович любит своего сына. Если Макса не станет, это настолько надломит Горького, что он превратится в безобидного старика.

— Что же вы предлагаете мне — убить Макса?

— Это же в ваших интересах. Если Макс останется наследником, вы останетесь у разбитого корыта. Доктор Виноградов говорит, что на Макса плохо действует алкоголь и что этого само по себе достаточно, чтобы подорвать его здоровье и ускорить развязку. Вот и подумайте... А о других действиях позаботится Виноградов. Он лечащий врач Макса, хорошо его знает...

И Крючков приступил к делу. Выражалось это в том, что он усиленно подливал Максиму, оставляя его пьяным на сквозняке. Был создан культ коньяка “Нарзак” (смесь коньяка с нарзаном), которым и удалось подорвать здоровье сына Горького. Но все это еще не опасно для жизни.

Тогда Ягода предлагает:

— А вы сделайте так, чтобы он пьяным полежал на снегу.

Сказано — сделано. Первое покушение предпринято в марте. И что же? Легкий насморк. А Ягода торопит.

Еще одна попытка — в конце апреля опьяненный Максим оставлен спать при открытом окне. Снова неудача. И вот наконец покушение удалось. “2 мая, после выпивки, я вывел Макса в сад и оставил спать на скамейке...” В результате — температура, головная боль, Максим слег. “Дальнейшее лечение было фактически актом убийства, совершенного Левиным, а затем привлеченным к лечению Виноградовым”...

Между тем Левин определил у больного только легкий грипп. И вот появился Виноградов.

— По своему обыкновению, он привез с собою все необходимые лекарства из санчасти НКВД, — продолжает рассказ Крючков. — Вопреки возражениям Чертковой Виноградов из своей аптечки дал принять Максу какую-то микстуру, несмотря на то что такая микстура, по заявлению Чертковой, была в аптечке дома Горького. В результате ее действия положение Макса еще больше ухудшилось, он совершенно ослаб и уже не мог подняться с постели.

Жена Пешкова и сам Алексей Максимович стали настаивать на созыве консилиума. Этому, однако, очень рьяно сопротивлялись Левин и Виноградов, заявляя, что они ждут резкого улучшения состояния здоровья Макса, что ничего опасного в этом заболевании нет. Около кровати больного развертывается своеобразная борьба между Виноградовым и Чертковой. Виноградов пытается давать лекарства, привезенные им, а Черткова настаивает на том, чтобы эти лекарства давались из аптечки Горького. Я не знаю, подозревала ли что-нибудь Черткова, но она очень энергично отстаивала право давать лекарства лично... По крайней мере, я вспоминаю замечание Виноградова, сказанное вслед уходившей из комнаты Чертковой: “Нельзя ли как-нибудь отвязаться от этой старухи?”

Несмотря на все старания Виноградова обострить болезнь, положение Макса стало заметно улучшаться. Помню, когда я об этом сообщил Ягоде, последний сказал: “Вот сапожники, скольких уже залечили, а тут с чепухой никак не справятся”. Как мне стало известно, Ягода после этого говорил с Виноградовым. Последний затем сказал мне, что надо найти возможность или предлог дать больному выпить шампанского. При этом Виноградов сказал: “Мне Генрих Григорьевич говорил, что вы знаете все и должны мне помочь в этом. Я рассчитываю, — продолжал Виноградов, — что в результате шампанского у больного неизбежно появится расстройство желудка, а тогда будет простым предлогом дать ему слабительное. Это его доконает”.

Это мною было выполнено. Через несколько часов Макс стал жаловаться на боль в желудке. Виноградов немедленно дал больному слабительное. Выйдя из комнаты, Виноградов заявил мне: “Ну, теперь можно считать, что наша задача решена. Это очень опасная вещь, и даже неспециалисту ясно, что при такой температуре давать слабительное — значит убить человека. Смотрите не проговоритесь!”

Состояние Макса после этого эпизода резко ухудшилось. Он впал в беспамятство, стал бредить. 11 числа Максим Пешков скончался...

Все это было похоже на дурной детектив. Явная липа — так и я думал вначале. И написал уже эту главу, решив, что убийство Максима — фальсификация. Тем более что главный убийца, доктор Виноградов, арестован не был и даже проходил на процессе как эксперт, член медицинской комиссии, созданной специально для подкрепления ложного приговора. Не может же быть, чтобы убийца, разоблаченный на следствии, остался цел и невредим и даже сам фигурировал как разоблачитель.

Но что-то тревожило смутно, заставляло вновь и вновь возвращаться к этой смерти, ворошить все новые материалы. Помог Роберт Конквест. В книге “Большой террор”, описывая дело правотроцкистского блока, он тоже упоминает эксперта — профессора В. Н. Виноградова... Стоп! А как зовут врача, залечившего Максима Пешкова? А. И. Виноградов. Это же совсем другой человек! А что с ним стало?.. Вся история смерти Максима предстала совершенно иначе.

Да, все это было бы похоже на дурной детектив, если бы не один непреложный и серьезный факт: перед самым процессом доктор А. И. Виноградов умер при невыясненных обстоятельствах в руках органов безопасности. Следствие в отношении его было прекращено за смертью обвиняемого. Еще одна загадочная гибель. Сделал свое дело — и был убран? Не спрятали ли правду о смерти Максима в могилу Виноградова?

Биографы Горького мало обращали внимания на этот факт. На процессе А. И. Виноградов был отодвинут за кулисы, возможно, путался в сознании с однофамильцем — другим врачом, профессором В. Н. Виноградовым, участником медицинской экспертизы. Но главное, конечно, — не было в руках документов следствия, таких, как дело Крючкова. Теперь они перед нами, и загадка смерти Максима стала проясняться.

Судьба, подобная той, что постигла А. И. Виноградова, была не единственной — в то же время умер начальник Лечсанупра Кремля Ходоровский, тоже находясь под следствием, тоже по неведомой причине. Не слишком ли много случайностей?

Осужденный на том же процессе известный революционер Х. Раковский произнесет в тюрьме вещие слова (их передал впоследствии один из допрошенных сотрудников НКВД):

— Я напишу заявление с описанием всех тайн мадридского двора — советского следствия... Пусть хоть народ, через чьи руки проходят всякие заявления, знает... Пусть я скоро умру, пусть я труп, но помните... когда-то и трупы заговорят...

Трупы заговорили.

8 марта 1938 года. Октябрьский зал Дома союзов переполнен. Что же не празднично? Нет, Международный женский день отмечают не здесь, здесь судят “банду палачей и предателей”.

На скамье подсудимых — двадцать один человек, среди них люди, известные всей стране: Бухарин, Рыков, Раковский, Ягода... Присутствовавшие в зале иностранные наблюдатели уверяют, что за происходящим спектаклем наблюдал и главный режиссер — Сталин, сидевший в особом помещении на хорах, за окном, — был момент, когда переключали свет и многие ясно увидели его.

На прокурорском месте — Вышинский и на подхвате у него — Лев Шейнин, следователь по особо важным делам, по совместительству — писатель, новой формации, сталинской выпечки.

Утреннее заседание. Допрашивают Ягоду. Выглядит он совсем по-другому, чем когда был у власти, — поседел, сгорбился, осунулся, мрачен. Перечисляются убийства, организованные им, — Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького — он подтверждает вину. На вопрос о Максиме Пешкове отрезает:

— Максима Пешкова я не умерщвлял.

Вышинский зачитывает показания Ягоды на предварительном следствии.

— Вы это показывали, обвиняемый Ягода?

— Показывал, но это неверно.

— Почему вы это показывали, если это неверно?

— Не знаю почему...

— Почему вы врали на предварительном следствии?

— Я вам сказал. Разрешите на этот вопрос не ответить.

Фразу эту Ягода произнес с такой яростью, что, по словам американского наблюдателя на процессе, все затаили дыхание.

В допрос вмешался председатель суда Ульрих, но Ягода, повернувшись к нему, злобно сказал (эта фраза не вошла потом в официальный отчет):

— Вы на меня можете давить, но не заходите слишком далеко. Я скажу все, что хочу сказать... Но... слишком далеко не заходите...

Эта сцена потрясла зал. Сталину, если он действительно за всем наблюдал, вероятно, показалось: вот-вот и весь замысел лопнет, спектакль провалится.

Заседание возобновилось вечером. Ягода выглядел уже окончательно сломленным, отчаявшимся, упавший голос был еле слышен. Следователи хорошо подготовили его к новому акту спектакля.

Вначале секретарь Ягоды Буланов описал специальную лабораторию ядов, созданную и лично контролируемую его начальником. По его словам, Ягода “исключительно” интересовался ядами. Тут самое время вспомнить и об этой стороне деятельности нашего многоликого Яго. Сын аптекаря, с детства знакомый с химией и сам до революции начинавший как фармацевт, он экспериментировал в НКВД, надо думать, не для теории. Яды применялись органами широко и повсеместно, за границей и дома. И как знать, не случись революции, может быть, Россия имела бы еще одного отличного аптекаря?

— Подсудимый Буланов, а умерщвление Максима Пешкова — это тоже дело рук Ягоды? — спросил Вышинский.

— Конечно.

— Подсудимый Ягода, что вы скажете на это?

Ягода выдавил, еле шевеля губами:

— Признавая свое участие в болезни Пешкова, я ходатайствую перед судом весь этот вопрос перенести на закрытое заседание...

Потом он вытащил бумажку и стал зачитывать свои показания, медленно, запинаясь, как если бы видел текст впервые. Дойдя до “медицинских убийств”, снова признал только свое “участие в заболевании Макса” и вновь попросил дать объяснения на закрытом заседании.

Дважды еще возвращался к этому Вышинский, пытаясь выжать у Ягоды признание, — с тем же успехом.

— Признаете вы себя виновным или нет? — почти кричал прокурор, теряя терпение.

— Разрешите на этот вопрос не ответить.

Так и не удалось вырвать у подсудимого “да” в этот день. И когда Вышинский перечислял все совершенные Ягодой убийства — Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького, — а тот подтвердил их все, Максима Пешкова в этом ряду не было.

На заседании при закрытых дверях Ягода, как объявили, “полностью признал организованное им умерщвление товарища Максима Алексеевича Пешкова, сообщив при этом, что преследовал этим убийством и личные цели”...

В обвинительном заключении Вышинский торжествующе раскрывал технологию убийства:

— Ягода выдвигает свою хитроумную мысль: добиться смерти, как он говорит, от болезни, или как он здесь на суде сказал: “Я признаю себя виновным в заболевании Максима Пешкова”. Это, между прочим, не так парадоксально, как может казаться на первый взгляд. Подготовить такую обстановку, при которой бы слабый и расшатанный организм заболел, а потом... подсунуть ослабленному организму какую-либо инфекцию, не бороться с болезнью, помогать не больному, а инфекции и таким образом свести больного в могилу, — это не так парадоксально.

— Ягода на закрытом судебном заседании, — добавляет Вышинский, — объяснил свое нежелание говорить об этом тем, что мотивы убийства носят сугубо личный характер... Он прямо сказал, что мотивы личные...

Американский посол в Москве Джозеф Эдвард Дэвис расшифровал это так: “Ягода был влюблен в жену Максима Пешкова, что ни для кого не было секретом”.

Действительно, эта самая “человеческая” версия и есть, вероятно, самая правдоподобная. Никаких иных причин убивать Максима, кроме личной, у Ягоды не было и быть не могло, а личная причина могла быть только одна — влюбленность в Тимошу. Понятно, почему он так не хотел признаться при всех, на открытом процессе.

Его ухаживания за ней начались еще при жизни Максима, а после его смерти усилились, стали настойчивы и навязчивы. Среди многочисленных рассказов об этом есть один особенно выразительный. Жена Алексея Толстого, Крандиевская, вспоминала сцены на горьковской даче: “По ступенькам поднимался из сада на веранду небольшого роста лысый человек в военной форме. Его дача находилась недалеко от Горок. Он приезжал почти каждое утро на полчаса к утреннему кофе, оставляя машину у задней стороны дома, проходя к веранде по саду. Он был влюблен в Тимошу, добивался взаимности, говорил ей: “Вы меня еще не знаете, я все могу”. Растерянная Тимоша жаловалась...”

Процесс закончился. Все участники правотроцкистского блока были расстреляны.

Это случилось через четыре года после смерти Максима Пешкова. А через два часа после смерти сына к Горькому приехали руководители партии и правительства со словами глубокого сочувствия. Он тогда перевел разговор:

— Это уже не тема.

Перед смертью, в бреду, Максу мерещился самолет. Очнувшись, он рисовал его на папиросной коробке, объяснял конструкцию, говорил, что, если прищуриться, четко различишь форму...

Ровно через год, в мае 1935-го, газеты сообщат: потерпел катастрофу гигантский агитсамолет “Максим Горький”, экипаж и десятки ударников, находившихся на борту, погибли.

Эта катастрофа кажется почти символической.

В последние годы жизни Горький — сломленный человек, ставший послушным орудием в руках властей. В своих публичных выступлениях привычно славит Сталина, но прежней близости между ними уже нет, возникла ощутимая дистанция, холодок. Трудно сказать, что за кошка пробежала между домом Горького и Кремлем. Может, дело в том, что писатель пробовал заступиться за опального Каменева и тем окончательно рассердил вождя? Или в том, что так и не написал ничего значительного, эпохального о Сталине, не восславил его должным образом, как Ильича, хотя не раз намекали, и материалы к биографии подсовывали, и даже в печати сообщали: ждите, мол, вот-вот... А он — не сдюжил, не выполнил социальный заказ.

По всему видно, что вождь больше с писателем не церемонится. Ринулся было в Италию — не пустили: живи дома! Не выноси сор из избы. Клетка захлопнулась.

“Правда” вдруг печатает пасквильную статью Д. Заславского, ругает старика за либерализм — за предложение переиздать “Бесов” Достоевского. И Достоевского защищать нельзя! Значит, Горький уже — не из неприкасаемых? Переведен в разряд почетных, но не действующих лиц?

И жизнь, несмотря на внешнее благополучие, славу и фимиам, все больше напоминает домашний арест. Писатель Шкапа передает в своих воспоминаниях один нечаянно подслушанный им монолог:

“— Устал я очень, — бормотал Алексей Максимович как бы про себя, — словно забором окружили, не перешагнуть. Окружили, обложили. Ни взад, ни вперед!.. Непривычно сие!..”

Удивительные вещи происходили в доме писателя. Контролировались даже газеты, прежде чем попасть туда. Были случаи, когда типография печатала номер в одном экземпляре, специально для Горького, — с соответствующими изъятиями и подделками (один такой номер сохранился в музее Горького). Объяснялось это заботой о спокойствии старика, на самом деле стерилизовалось уже само сознание писателя, его превращали в некоего зомби — автомат, удобный в обращении.

Эта психологическая западня, постоянная депрессия, отчаянье, конечно, деформировали личность Горького и, может быть, больше, чем возраст и болезни, вели к концу. Читая то, что он писал в те дни, даже невольно задаешься вопросом: уж не навещало ли его безумие?

Незадолго до смерти он решил, например, мобилизовать сотню писателей для такого вот дела: “Им будут даны сто тем, и мировые книги ими будут переписаны наново, а иногда две-три соединены в одну”. Для чего же покушался он на всю мировую культуру? А “чтобы мировой пролетариат читал и учился по ним делать мировую революцию”. “Таким образом, — писал Горький, — должна быть постепенно переписана вся мировая литература, история, история церкви, философия: Гиббон и Гольдони, епископ Ириней и Корнель, проф. Анфилонов и Юлиан Отступник, Гесиод и Иван Вольнов, Лукреций Карр и Золя, “Гильгамеш” и “Гайавата”, Свифт и Плутарх. И вся серия должна будет кончаться устными легендами о Ленине”.

Вот так! Но если вдуматься, и в этом безумии была своя логика. Ведь еще в далеком 1908 году Алексей Максимович собирался переписать заново “Фауста” Гёте, на что тогдашняя его жена Мария Федоровна Андреева, актриса, а в будущем партработник, воскликнула: “Это будет нечто изумительное!”

Пройдет время, и Сталин наложит на горьковской поэме “Девушка и Смерть” резолюцию: “Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гёте”. Зачем тогда переписывать?

Дом Горького в это время превращен, по существу, в филиал НКВД, через который органы ведут неусыпный контроль и за ним, и за его гостями. Чекисты и писатели сосуществуют в самой тесной близости друг к другу, срастаясь воедино в какое-то злокачественное образование. НКВД выдвигает и откровенно подкармливает нужных ему людей из своей казны. Авербах признавался на следствии, что постоянно пользовался бесплатными услугами хозчасти НКВД и что подобным образом обслуживались на глазах у всех и другие люди из окружения Горького. Он называет писателя Киршона, художника Павла Корина — учителя Тимоши, для которого Ягода построил специальную мастерскую, Афиногенова и Фадеева, которые получили квартиры в доме НКВД, а Крючков, по словам Авербаха, “в этом смысле чувствовал себя в НКВД своим человеком”.

Особая роль Крючкова подробно расписана в многочисленных доносах, посыпавшихся на Лубянку после его ареста. Один из них, агента “Алтайского”, увенчанный до сих пор грифом “Совершенно секретно”, — это своего рода мемуары сексота, который передает рассказы близких Горькому лиц. Вот что он услышал от писателя Александра Николаевича Тихонова:

— Крючков — человек, способный на все... Его задачей было стать полным хозяином у Горького, он добивался этого всеми средствами. И, в частности, сумел отдалить от Горького всех старых друзей. Он нашептывал, срывал посещения Горького писателями и кое-кого совсем не пускал. Из старых друзей остался я один, и то он меня всячески оттеснял.

Для всего этого нужно было и Крючкову, и Ягоде держать Тимошу в своих руках. Она — милая, обаятельная женщина, далекая от всяких махинаций и политики. Она, конечно, очень нравилась Ягоде. А роман Ягоды и Тимоши избавлял Крючкова от опасности, что в дом войдет неприемлемый для него человек. Едва ли она его любит. Ей просто некуда было податься. Она была окружена... В доме Горького Крючковым и Ягодой была создана такая атмосфера, что с Тимошей страшно было разговаривать, того гляди, посадят. Для нее хорошо, что все это произошло (то есть арест Ягоды и Крючкова. — *В. Ш.*), она бы сама из этого болота не выбралась.

Во всем этом было что-то темное. Возьмите одно то, как Крючков жил. Он просто-напросто неограниченно тратил средства Алексея Максимовича на себя. Крючков и Ягода были закадычные друзья. Они вместе в баню ходили... Ну а на основе этой деловой спайки создавалась “широкая жизнь”. Я в Озерах (дача Ягоды. — *В. Ш.*) не бывал, но не раз слышал, как Ягода хвастался: “Две тысячи роз и орхидей...” А во всем этом Крючков принимал деятельное участие. Вообще они друг другу подходили — мастера своих дел и делишек. Вместе устраивали попойки и кутежи.

Помню лето 1934-го. Цхалтубо. Приезжает жена Ягоды Ида и привозит с собой — двух шоферов, охрану, машину и т. д. Там жить негде было, а ей отвели целую часть гостиницы. А на курортах тип высокопоставленного чекиста — это же разнузданный человек, которому все девочек подавай... За себя я не боюсь. И с Крючковым, и с Ягодой я был в плохих отношениях. Чему я рад, так тому, что Алексей Максимович всего этого не видит...

Последнюю свою весну, 1936 года, Горький жил в Крыму, на даче в Тессели. Там его навестил известный французский писатель Андре Мальро. Новые подробности этой встречи открылись в архивных материалах Лубянки — рассказ о ней я обнаружил в следственном деле Исаака Бабеля, в его показаниях:

— Мальро приезжал в СССР, чтобы повидаться с Горьким по делам Всемирной ассоциации революционных писателей. Сопровождали его Кольцов и Крючков, по просьбе Алексея Максимовича поехал и я, оставаясь во все время поездки чисто декоративной фигурой.

В памяти у меня запечатлелось, что на вопрос Мальро, считает ли Горький, что советская литература переживает период упадка, тот ответил утвердительно. Очень волновала Горького тогда открытая на страницах “Правды” полемика с формалистами, статьи о Шостаковиче, с которыми он был не согласен. В эти последние месяцы жизни в Крыму Горький производил тяжелое впечатление... Атмосфера одиночества, которая была создана вокруг него Крючковым и Ягодой, усердно старавшимися изолировать его от всего более или менее свежего и интересного, что могло появиться в его окружении, сказывалась с первого дня моего посещения. Моральное состояние Горького было очень подавленное. В его разговорах проскальзывали нотки, что он всеми оставлен. Неоднократно говорил, что ему всячески мешают вернуться в Москву, к любимому им труду... Не говоря уж о том, что под прикрытием ночи в доме Горького, уходившего спать к себе наверх, Ягодой и Крючковым совершались оргии с участием подозрительного свойства женщин, Крючков придавал всем отношениям Горького с внешним миром характер одиозности, бюрократичности и фальши, совершенно несвойственных Алексею Максимовичу, что тяжело отражалось на его самочувствии. Подбор людей, приводимых Крючковым к Горькому, был нарочито направлен к тому, чтобы он никого, кроме чекистов, окружающих Ягоду, и шарлатанов изобретателей, не видел. Эти искусственные условия, в которые был поставлен Горький, начинали его тяготить все сильнее, обусловили то состояние одиночества и грусти, в котором мы застали его в Тессели незадолго до смерти...

— Вы уклонились от своих показаний, — оборвал Бабеля следователь.

Есть семь версий смерти Максима Горького. По каждой из них можно выстроить события — так и делали, а истина все равно ускользала, оставляя вместо себя мертвую груду фактов и домыслов. Но как отделить посмертную маску от живого лица, разглядеть человека, понять, что произошло с ним, а значит, и со всеми нами?

Болезнь писателя оказалась на деле куда сложней и трагичней, чем считали, и даже выходила за пределы медицины.

В нашей хронике от смерти Горького нас отделяет совсем немного, проследим этот последний отрезок его жизни не спеша, подробней, как при замедленной киносъемке. Может быть, сам материал подскажет, умер ли писатель от болезни или был убит и был ли его уход из жизни просто остановкой сердца либо именно концом — полным и бесповоротным распадом личности, гибелью духа.

Теперь, издалека, зная, как много людей окружало Горького, порой даже досадуешь: ну что же никто из них не сказал правду, как оно было на самом деле! А им, быть может, еще труднее было увидеть эту правду — в упор. Слишком близко. Осмелится ли кто-нибудь из нас сказать, что он видит, знает правду наших дней? Не будем слишком доверять очевидцам, у каждого свой взгляд, своя память, свой угол искажения действительности.

По официальной сталинской версии смерть Горького — злодейское убийство, часть глобального заговора правотроцкистского блока, в который главными действующими лицами входили Бухарин, Рыков, Ягода и заочно — Троцкий. Их цель — свергнуть Сталина и завладеть властью. Горький — преданнейший друг вождя — мешает, значит, должен быть устранен. Как пел народный акын Казахстана Джамбул Джабаев:

Ты Сталина, гения мира, любил,
Ты жил бы средь нас еще долгие годы,
Когда б не змеиное жало Ягоды,
Когда бы не яды убийц-палачей,
К тебе приходивших в халатах врачей...

На самом деле Сталину нужен новый виток репрессий, как всегда, для одного — усилить свое единовластие, крепче взять в руки страну. Вину Ягоды определил сам Сталин в своей телеграмме Политбюро от 25 сентября 1936 года: в открытии большого террора “ОГПУ опоздал на четыре года”. И уж не виной, а бедой Ягоды было то, что он слишком много знал про вождя подноготного, — от таких свидетелей Сталин регулярно избавлялся.

В замысле процесса было слабое место: много злодеев, а жертва только одна — Киров. И тут-то Сталину пригодились случившиеся в последнее время смерти — Куйбышева, Менжинского, Горького и его сына, — все они тоже были объявлены жертвами.

Неправда, что гений и злодейство несовместны. Совместны, если перед нами гениальный злодей. Искусник из Кремля дал спектакль — и жизнь предстала в нужном для него виде. И надо сказать, исполнители с Лубянки изрядно потрудились, чтобы сделать из смерти Горького шедевр в детективно-фантастическом жанре.

Снова откроем дело Крючкова. Вот Ягода дает ему задание — “разрушить здоровье Горького”. Крючков колеблется, мучается. Ягода угрожает, говорит, что разоблачит его как убийцу сына Горького и семейного казнокрада.

— Когда вас арестуют, вам никто не поверит, вы человек неглупый, поймите, следствие-то будут вести мои люди. А Горький уже старик, он и так вот-вот умрет...

Спрашивается, зачем тогда на него покушаться?

— После смерти Горького вы будете едва ли не самым богатым человеком в СССР, — продолжает Ягода. — Одни комментарии к письмам чего стоят.

— Бросьте хныкать и беритесь за дело, — давит Ягода, — раньше вы оберегали здоровье Алексея Максимовича, а теперь... После смерти сына духовные силы его надорваны.

— Делайте побольше сквозняков, свежего воздуха, — смеясь, говорит Ягода. — Кстати, у него, кажется, всего одно легкое, да и то не в порядке...

И Крючков действует.

— Я делал все, что мог, чтобы простудить Алексея Максимовича, ослабить его организм: “забывал” закрывать окна, когда он засыпал, увлекал его работой над четвертым томом “Клима Самгина”, зная, что чрезмерное утомление для него чрезвычайно вредно. Будучи в Крыму, в целях ослабления и разрушения и без того слабых легких Алексея Максимовича я организовывал вечера на воздухе перед костром. Естественно, что дым от костров очень отрицательно влиял на его легкие, а вечернее пребывание на воздухе при разности температуры от костра и температуры воздуха также отрицательно влияло на здоровье. Уже в Крыму у Алексея Максимовича в силу вышеприведенных моих преступных действий появились частые ознобы и начались жалобы на общее состояние организма...

Ягода между тем торопит. Весной 1936-го звонит из Москвы:

— Уговорите Горького переехать в Москву и по дороге найдите случай выполнить задание.

Склонить Горького к отъезду не удается, а тут еще Тимоша звонит: у внучек грипп, не торопитесь возвращаться.

Крючков докладывает Ягоде. Тот отмахивается:

— Сообщите Алексею Максимовичу, что ребята совершенно здоровы.

Наконец выезжают. Уже в дороге Горький чувствует себя скверно, а 30 мая, на даче в Горках, заболевает серьезно.

Так говорит Крючков, по протоколу допроса, продолжая и под занавес усердно играть роль, отведенную ему в историческом действе, задуманном в Кремле и успешно инсценированном на Лубянке.

Дальше в показаниях под прицел обвинения ставится лечащий врач Горького — Левин. По словам Крючкова, в течение нескольких дней он скрывал правильный диагноз, и только когда сам Алексей Максимович 2 июня установил у себя крупозное воспаление легких, врачу пришлось согласиться с ним. И все же он медлит с принятием решительных мер, поручает Крючкову всячески сопротивляться впрыскиванию нужных лекарств, навязывает больному в качестве врача профессора Плетнева, не допуская приезда другого доктора — Сперанского, которому доверяли в доме.

В конце концов Крючков рисует такую картину:

— На консилиуме, состоявшемся незадолго до смерти Алексея Максимовича, Плетнев предлагает влить физиологический раствор. Должен сказать, что он прекрасно знал, что физиологический раствор действует крайне ослабляюще на организм Горького, и все это предложил. Вливание раствора окончательно подорвало здоровье Алексея Максимовича, а вторичное впрыскивание, по совету того же Плетнева, дигалена окончательно разрушило сердечную деятельность, что привело к смерти Алексея Максимовича...

Получается, убили физиологическим раствором и дигаленом — легким сердечным средством из листьев наперстянки.

Такова официальная версия, навязанная Крючкову, придуманная Лубянкой и санкционированная Кремлем. Инсценировка многие годы принималась за правду жизни, да и как не поверить, если за ее достоверность персонажи заплатили жизнью!

Но был ведь, был документ, обязательный, точный, который фиксировал течение болезни Горького, до самого конца...

Мы никогда не узнаем правду о смерти Горького, сокрушались горьковеды, история его болезни не сохранилась!

И вот эта документальная хроника последних дней, часов и даже минут писателя — медицинская история болезни, извлеченная из бездонных подвалов Лубянки, — лежит передо мной. Сшитая простыми нитками тетрадка, исписанная чернилами, разными людьми, порой трудноразборчивым почерком, но текст датирован тем временем, писался день за днем по ходу болезни Горького и, значит, непреложно достоверен.

Раскроем же историю болезни Горького, проследим течение его жизни к неизбежному концу и сравним эту подлинную хронику с той официальной версией, которая отпечаталась в показаниях Крючкова. И сразу же мы наткнемся на явные расхождения. Мы увидим, что правильный диагноз был установлен своевременно, что не раз созывались консилиумы лучших врачей и принимались самые решительные меры для спасения уже безнадежно изношенного и разбитого болезнью организма. Что стоило следствию, если бы оно заботилось об истине, заглянуть в историю болезни? Обязано было! Видимо, и заглянули, и спрятали потом записи врачей подальше, и продержали в своих запасниках до нынешних дней!

Запись домашнего врача Горького Леонида Григорьевича Левина:

“28 мая. Вчера А. М. возвратился из Крыма в Москву. Дорогу перенес тяжело, без сна, трудно было дышать...” На полях: “грипп”.

“1 июня. Грипп, бронхопневмония...”

“2 июня. Грипп, бронхопневмония. Ночь без сна. Консультация с профессором Лурье и доцентом Гинзбургом... Резкие изменения в обоих легких, связанные со старым туберкулезным процессом...”

“4 июня. Консультация с профессором Плетневым. Диагноз — тот же. Положение очень серьезное”.

“5 июня. Консультация с доктором, профессором Лангом. Диагноз и терапия те же”.

“Ночь на 7 июня прошла относительно спокойно. А. М. спал с частыми перерывами, моментов острого упадка сердечной деятельности в течение ночи не было. Новых очагов в легких нет. Больной несколько бодрее, чем был всегда. Терапия та же”. Подписи: Кончаловский, Ланг, Левин.

“8 июня. Общее состояние по-прежнему остается тяжелым. В пятом часу дня положение еще ухудшается...”

Наступил кризис. В этот день ситуация казалась настолько безнадежной, что врачи решили — конец неизбежен. Близкие Горького — Екатерина Павловна Пешкова, Тимоша, Мария Игнатьевна Будберг, Черткова, Ракицкий — пришли к нему для последнего прощания.

Что произошло у постели умирающего, я восстанавливаю дальше по их воспоминаниям.

Горький открыл глаза и сказал:

— Я уже далеко, мне так трудно возвращаться...

И после паузы:

— Я всю жизнь думал, как бы мне изукрасить этот момент...

Вошел Крючков и сообщил, что едет Сталин (видимо, он уже предупредил Сталина о состоянии Горького по телефону).

— Пусть едут... если успеют, — сказал Алексей Максимович.

Черткова, вспомнив, как еще в Сорренто она однажды воскресила Горького, впрыснув ему лошадиную дозу камфары, пошла советоваться к Левину:

— Разрешите мне впрыснуть двадцать кубиков, если все равно положение безнадежно...

Левин махнул рукой:

— Делайте что хотите.

Камфара и впрямь вернула больного к жизни, так что, когда в доме появился Сталин, а с ним Молотов и Ворошилов, они были поражены бодростью Алексея Максимовича — ожидали ведь, что он при смерти.

Сталин вел себя по-хозяйски и сразу стал наводить порядок:

— Почему так много народу? Кто за это отвечает?

— Я отвечаю, — сказал Крючков.

— Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?

— Знаю.

— Кто это сидит рядом с Алексеем Максимовичем, в черном? Монашка, что ли? — Сталин показал на Будберг. — Свечки только в руках не хватает.

Крючков объяснил.

— А эта? — Сталин показал на Черткову, одетую в белый халат.

Крючков объяснил.

— Всех — отсюда вон, кроме этой, в белом, что за ним ухаживает.

В столовой Сталин увидел Ягоду.

— А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было! Ты мне за все отвечаешь головой, — сказал он Крючкову. — Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!..

Горький заговорил о литературе. Но Сталин остановил его:

— О деле поговорим, когда поправитесь, — и спросил, есть ли в доме вино.

Выпили, разумеется, за выздоровление. Уезжая, расцеловались с Алексеем Максимовичем. Он потом сожалел:

— Напрасно целовались. У меня грипп, я могу их заразить...

Горький прожил после этого еще десять дней. Дважды за это время приезжал Сталин. В первый раз больному было плохо, и врачи к нему не пустили, второй раз — поговорили минут десять, почему-то о французских крестьянах.

В последние дни, когда к Алексею Максимовичу возвращалось сознание, он пытался как-то зацепиться за жизнь, участвовать в ней, произносил отрывочные фразы.

Показали газету с проектом Конституции, на что он сказал:

— Мы вот тут пустяками занимаемся, а в стране теперь, наверно, камни поют...

Но были и другие слова, простые, мудрые, человечные:

— Умирать надо весной, когда все зелено и весело.

Или проснулся однажды ночью и говорит Чертковой:

— А знаешь, я сейчас спорил с Господом Богом. Ух как спорили! Хочешь, расскажу?

Не успел рассказать.

История болезни:

“9 июня. Ночь провел плохо, часто просыпаясь. Кислород, камфара... С утра — несколько спутанное сознание, сейчас — ясное. Состояние тяжелое...” Ланг, Плетнев, Кончаловский, Левин.

“13 июня. ...Положение не меняется к лучшему, несмотря на огромное количество введения под кожу и внутримышечно сердечных средств... Пульс временами снижается до 90 и быстро опять учащается. Сознание ясное. Около часу дня выразил желание видеть внучек, что было исполнено. Свидание не ухудшило положения...”

“14 июня. 22 час. 30 мин. Последние часы самочувствие, несмотря на тахикардию, было удовлетворительным. Покушал немного цыпленка и куриные котлеты, несколько яиц, молоко, чай, пил нарзан”.

“15 июня. 19 час. Побрился с парикмахером. Кушал бульон, пил молоко, нарзан...”

“16 июня. 12 час. дня. Состояние очень резкой сердечной слабости. За последние два дня усилилось явление большого нервного возбуждения... Много говорит...”

Подписи — прежние, будущих “врачей-отравителей”.

17 июня состояние больного резко ухудшилось.

“Около 9 час. утра обморочное состояние. Поднятая рука опускается плетью, ни на что не реагирует, ничего не говорит... Сопорное состояние. После большого количества кофеина, камфары, кардиароба, кислорода... выпил три четверти чашки молока.

После относительно хорошо проведенной ночи сегодня в 6 час. 30 мин. утра внезапно наступило кровохарканье... Одновременно с этим значительное расстройство дыхания, усиление цианоза и помрачение сознания. В 8 час. 30 мин. — короткий обморок. В легких много отечных хрипов...”

Пришла последняя ночь. Началась агония. За окнами гремела гроза, хлестал ливень. Собрались все близкие. Доктора, жившие в эти дни в Горках, совещались внизу, в кабинете писателя, за круглым столом, хотя уже все было ясно. Поддерживали больного кислородом, за ночь триста мешков, — передавали конвейером, прямо с грузовика, по лестнице, в спальню текла эта струйка жизни.

“18 июня. ...Провел очень тяжелую ночь... Очень возбужденное состояние, непрерывный бред, не пьет ничего, отказывается часто и от кислорода...

11 час. Глубокое коматозное состояние. Бред почти прекращается, двигательное возбуждение также несколько уменьшается. Клокочущее дыхание.

11 час. 05 мин. Пульс падает, считается с трудом. Коматозное состояние. Не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание.

11 час. 10 мин. Пульс стал быстро исчезать... Пульс не прощупывается... Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет (проба на зеркало). Смерть наступила при явлении паралича сердца и дыхания...”

На обороте этого последнего листка в истории болезни записан клинический диагноз:

“1. ...Легочный туберкулез, каверны, бронхоэктазия, эмфизема легких, пневмосклероз, плевральное сращение;

2. Атеросклероз аорты и коронарных сосудов сердца, кардиосклероз;

3. Сердечная недостаточность;

4. Бронхопневмония;

5. Инфаркт легких (?);

6. Инфекционная нефрозия”.

И подписи — всех четырех врачей: Г. Ланг, М. Кончаловский, Д. Плетнев, Л. Левин.

Почему же на суде и Плетнев и Левин заявили: мы — убийцы Горького? Лишь в наши дни вскрылись документы, объясняющие это, и среди них — заявление Плетнева высшим руководителям страны. Семидесятилетний профессор, считавшийся лучшим врачом России, подает нам голос из прошлого, из Владимирской тюрьмы:

“Весь обвинительный акт против меня — фальсификация. Насилием и обманом у меня вынуждено было “признание”... Когда я не уступал, следователь сказал буквально: “Если высокое руководство полагает, что вы виноваты, то, хотя бы вы были правы на все сто процентов, вы будете все... виновны...”

Ко мне применялись ужасающая ругань, угрозы смертной казнью, таскание за шиворот, удушение за горло, пытки недосыпанием, в течение пяти недель сон по два-три часа в сутки, угрозы вырвать у меня глотку и с ней признание, угрозы избиением резиновой палкой... Всем этим я был доведен до паралича половины тела... Я коченею от окружающей меня лжи и стужи среди пигмеев и червей, ведущих свою подрывную работу. Покажите, что добиться истины у нас в Союзе так же возможно, как и в других культурных странах... Правда воссияет!..”

Сегодня врачи, лечившие Горького, реабилитированы. Специальная медицинская экспертиза, проведенная недавно, пришла к выводу: диагноз и лечение были правильными, смерть — естественной.

Не хватало для полной ясности истории болезни — теперь вот и она есть. Но сколько же времени потребовалось — ведь более полувека прошло! — чтобы приблизиться к истине, чтобы сорвать паутину лжи с жизни и смерти Горького. Так медленно мы выходим из большевистского обморока, приходим в сознание. А за это время накручиваются новые трагедии, новая ложь. И мы опять не успеваем их осознать и распутать. Такова наша история.

Есть еще один малоизвестный документ о последних днях Максима Горького. Это не лживая стряпня лубянских протоколов и не сухая, хоть и правдивая, регистрация хода болезни. Это собственноручные заметки самого Алексея Максимовича, которые он пытался вести перед смертью. Подложив последнюю из прочитанных им книг — “Наполеона” Тарле, — он фиксировал вспышки гаснущего сознания:

“Вещи тяжелеют: книги, карандаш, стакан, и все кажется меньше, чем было.

...Конца нет ночи, а читать не могу.

...Забыли дать нож чинить карандаш.

Спал почти два часа. Светает.

Кажется, мне лучше...

Крайне сложное ощущение.

Сопрягаются два процесса:

вялость нервной жизни — как будто клетки нервов гаснут — покрываются пеплом, и все мысли сереют,

в то же время — бурный натиск желания говорить, и это восходит до бреда, чувствую, что говорю бессвязно, хотя фразы еще осмысленны.

Думают — восп. легких, — догадываюсь: должно быть, не выживу.

Не могу читать и спать...”

Последнюю заметку Горький уже продиктовал:

“Конец романа — конец героя — конец автора”.

Диагноз поставлен. Ярко и беспощадно точно. Может быть, это самые трагические слова, сказанные в литературе.

**Послесмертие**

Алексей Максимович завещал похоронить его рядом с сыном на Новодевичьем кладбище. Теперь, узнав, что правительство решило кремировать Горького для Кремлевской стены, Екатерина Павловна позвонила Сталину и попросила, если уж нельзя выполнить последнюю волю покойного, отдать семье хоть горсточку праха для захоронения в могиле сына. Сталин сказал, что решать будет правительство. Ответ передал Ягода: правительство не сочло возможным выполнить просьбу. Даже тело, даже прах Горького отняли у близких!

То же произошло и с архивом.

Уже в день смерти Алексея Максимовича, когда скульптор Меркуров снимал маску с его лица, когда мозг писателя отвозили в ведре в Институт мозга, была утверждена комиссия для приемки литературного наследия и переписки Горького.

На деле владельцем архива стал НКВД.

Есть версия, что органы обнаружили в доме Горького тщательно запрятанные записки и что Ягода, прочитав их, выругался:

— Как волка ни корми, он все в лес смотрит!

Было ли так, бог знает. А вот что нам стало известно.

Уже после ареста Крючков расскажет следователю, что он докладывал о содержимом архива Ягоде, чем тот сильно интересовался, и особенно настойчиво, нет ли там чего-нибудь “о товарищах”, то есть о членах Политбюро. Тимоша будто бы говорила ему в 1935-м, что Горький ведет такие записи...

— Не беспокойтесь, будете жить в довольстве, пока жив я, — заверил Крючкова Ягода.

Глава НКВД вообще действовал в горьковском доме бесцеремонно, его личный секретарь Буланов следил за доходами наследников, состоянием текущих счетов, расходованием денег. И даже в 1937 году, уже отставленный со своего поста и ставший наркомом связи, Ягода вмешивался в дела горьковской семьи и советовал Тимоше изъять домб Горького из ведения НКВД с тем, чтобы она была полной хозяйкой.

Но вернемся к архиву. Он, конечно, представлял для органов особый интерес. Заняться им подсказывали не раз неутомимые стукачи, продолжавшие свою бессмертную вахту. Агент “Саянов”, например, доносил:

“Следует полагать, что в архиве Горького, ныне, как я слышал, опечатанном НКВД, должны быть письма, представляющие огромную ценность политическую. Это не только письма разоблаченных врагов народа, очевидно, уже изъятые НКВД, но многое другое, переписка лиц, которых еще не разоблачили. Было бы большой ошибкой, с моей точки зрения, не изучить все эти материалы. Вообще следует учесть, что враги всячески пробирались в дом Горького... Несомненно, что не все связи этого дома еще ликвидированы. Какое-то количество людей еще собирается вокруг Крючкова, ведающего теперь Музеем Горького.

Надо обратить внимание на некоторые редакции, связанные раньше с Горьким, особенно редакцию “Наши достижения”. Арестован ли Вигилянский и другие сотрудники этого журнала, не знаю, но думаю, что арестованы, так как эти люди очень подозрительны политически...”

Так исподволь готовилось массовое избиение горьковского окружения, которое не заставило себя ждать. Когда будет арестован Крючков, то один из информаторов НКВД в доверительной беседе донесет капитану госбезопасности Журбенко, что Крючков скрыл часть архива, а “там могло кое-что быть”.

— Ну, что — нападки на Союз писателей? — спросил Журбенко.

— Не только.

— Против партруководства?

— Против некоторых его представителей...

Дом Горького органы чистили как следует, и не один раз. При аресте Крючкова разрезбли даже картошку — искали драгоценности.

— И это все, что вы накопили? — с издевкой спрашивали жену Крючкова Елизавету.

Об этой сцене сообщил капитану Журбенко другой сексот — “Алтайский”. И услужливо добавил: “Тимошу уже допрашивали...”

То-то в НКВД не знают, кого они допрашивали, кого нет!

Капитан Журбенко между тем собирал материалы и на жену Крючкова, готовя арест. Ее очень близкий человек, тоже писатель и тоже сексот, по кличке “Зорин”, после каждой встречи с ней подробнейшим образом докладывает обо всем, о чем бы они ни поговорили, даже о том, что Крючкова доверяла ему в минуты отчаянья:

— Я стою перед бездной, я никому не верю. У меня есть только вы и Петька, сын. Если бы у меня не было Петьки и вас, я бы застрелилась... Еще и год не прошел после смерти Алексея Максимовича, а уже оскорбляют его память преследованием близких ему друзей.

— А что вы думаете, каковы причины отставки Ягоды?

— Ягода всегда ссорился с Ежовым. Но это не главное. А дело в том, что Ягода в свое время принял аппарат НКВД таким, каким он был еще при Дзержинском. Работая по старым традициям, аппарат перестал удовлетворять современным требованиям государственности. Так что Ягода — жертва общей перемены государственного курса...

Через несколько дней Елизавета Крючкова будет арестована как сообщница Ягоды. На суде она заявит, что никакой политической связи с ним не имела. Ягода пытался сделать ее своей любовницей...

В тот же день она будет расстреляна.

Перед крайней чертой, накануне неизбежной смерти, многие еще раз мысленно проживали свою жизнь — и обретали другое зрение. Выйдя из позы партийного бойца и сбросив пропагандистские доспехи, Авербах размышлял в последних записках:

“Могла ли моя жизнь сложиться иначе? Конечно да. Это чушь о мистической социальной закономерности, о родовой наследственности среды. Вероятно, все в тюрьме, оглядываясь на прожитое, мысленно создают себе другую жизнь...”

Увы, другой жизни нам не дано.

Даже Ягода, став узником своей родной Лубянки, начал очеловечиваться. Говорят, он не мог ни спать, ни есть, а только бегал по камере из угла в угол. И вдруг воскликнул:

— А Бог все-таки существует!

— Что такое? — не понял бывший при этом сотрудник НКВД.

— Очень просто, — объяснил Ягода. — От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу. От Бога я должен был заслужить самую суровую кару — тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет...

В финале горьковской пьесы “Сомов и другие” агенты ГПУ арестовывают почти всех действующих лиц. Конец пьесы “Горький и другие” такой же. Не многие из людей, попадавших в роковой горьковский круг, умерли естественной смертью. Партийцы, чекисты, писатели-стукачи и просто писатели — одни расстреляны, другие потеряли здоровье в тюрьмах и лагерях, третьи доведены до самоубийства.

Больше повезет женщинам. Липа Черткова доживет почти до конца сталинской эпохи, Екатерина Павловна Пешкова — до хрущевской оттепели, Тимоша — до брежневского застоя. Всех их переживет Мария Будберг — на то она и “железная”...

Марфа и Дарья Пешковы, слава богу, живы до сих пор, свидетели горбачевской перестройки и ельцинской постперестройки. Внучки Максима Горького стали бабушками, правнуки — взрослые люди, а для праправнуков, которые подрастают, советская власть — это уже прошлое.

Окончание. Начало см. “Новый мир” № 3 с. г.

1 Чернов В. М. — один из лидеров партии эсеров. В 1917 году — министр Временного правительства, председатель Учредительного собрания. После большевистского переворота, прежде чем эмигрировать, Чернов пребывал на нелегальном положении.

2 Речь идет о поэте Вячеславе Иванове.

3 См.: Зубакин Борис. Стихи и письма. Публикация А. И. Немировского. — “Новый мир”, 1992, № 7. *(Примеч. ред.)*